

А. И.
ЛЕВИТОВ

Сочинения



Александр Иванович Левитов

Беспечальный народ

«В одной из своих крайних улиц Петербург воздвиг гигантские чугунные ворота с грозными воинами в полном боевом вооружении.

Обомшели и заржавели теперь старые ворота, грозные очи воинов, стороживших их, закрыты навеки, и хотя, как подобает героям, герои ворот сохранили еще свои угрожающие позы, показывая всем четырем сторонам божьего мира острые бердыши и долгомерные копья, но, счастливо минуя все эти боевые ужасы, бешеным, неудержимым и ни на минуту не прерывающимся потоком...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0056
III.....	.0081

Александр Иванович Левитов
Беспечальный народ
(Шоссейные типы, картины и
сцены) [1]

В одной из своих крайних улиц Петербург воздвиг гигантские чугунные ворота[2] с грозными воинами в полном боевом вооружении.

Обомшели и заржавели теперь старые ворота, грозные очи воинов, стороживших их, закрыты навеки, и хотя, как подобает героям, герои ворот сохранили еще свои угрожающие позы, показывая всем четырем сторонам божьего мира острые бердыши и долгомерные копья, но, счастливо минуя все эти боевые ужасы, бешеным, неудержимым и ни на минуту не прерывающимся потоком и в Петербург и из Петербурга мчится деятельная жизнь, заливая своими тревожными полчищами одичалые пространства, с каждым днем все далее и далее оттесняя куда-то вдаль царившую в них тишину и поселяя вместо нее громкий гул человеческой деятельности...

Несколько лет тому назад, случайно наткнувшись на это место, я ужасно полюбил его, потому что тут я впервые увидел эту

грандиозную битву, которую ведут люди с пустынями.

С каждым годом под мощной и терпеливой рукой человека сглаживаются волнистые хребты пустыни, от жаркого дыхания рабочих масс высыхают болота, – и эта зеленая куга и высокие камыши, которые столько лет в таком красивом сне раскачивались над водами, скрывая их никому не ведомые тайны, беспомощно упали теперь пожелтелые – и гниют...

Свои дремучие, вековые леса пустыня тоже с каждым днем все больше и больше отводит куда-то назад, – должно быть, ищет позицию, где бы она с успехом могла дать врагу-человеку генеральную битву.

А между тем с каждым уступленным пустынею шагом человек делается все дерзче и дерзче. Вот неподалеку от шоссе вместо тех непроходимых топей, которые несколько лет тому назад так ревниво были укрываемы сумрачными дубравами, зеленеют уже веселые, на далекое пространство раскинувшиеся равнины. С них, вместо их недавнего вечного молчания, на шоссе слышатся громкие крики

быстро передвигающихся войск, грохот барабанов и треск ружейной пальбы, а по самому шоссе, проложенному в прибрежных трясинах, неутомонно тянутся суетливые толпы различного народа, слитым гвалтом своих разговоров оглушая и прогоняя из пустыни всякую жизнь, исключительно населявшую ее прежде...

Шатаясь много лет по изображаемой местности, мне часто приходилось отдыхать в какой-нибудь лесной глуши, где почти на виду у меня, в прикрытом высокими порослями болотце, крякали и плескались дикие утки. Дым моей папироски и шорох нисколько не пугал их. Пушечные выстрелы, раздававшиеся с соседнего учебного поля, только на секунду тревожили их, заставляя приподнять пестрые головки и беспокойно крякнуть, что не случилось ли, дескать, поблизости чего-нибудь такого, что обыкновенно заставляет птицу расправлять свои всегда готовые к полету крылья.

«Ничего, ничего! – раздавался успокаивающий ответ вожаков утиной стаи. – Это так... не по нас. Это очень далеко отсюда», – и после

этого лесная дебрь опять предавалась своему царственному молчанию, которое ничуть не нарушалось ни бульканьем и всплесками птиц, гонявшихся за болотными насекомыми, ни гуденьем шмелей и мух, обильно ронявшихся над тинистой почвой.

Дичь и глушь – полные. Всю зиму помнишь такое тихое место. Поплеться туда на следующее лето – взглянуть, живы ли, мол, в том леску мои грустные думы, которые я поселил в нем в прошлом году, – смотришь, а уж на месте болотца с беззаботными утками стоит новенький форменный домик с резным крылечком, на котором меланхолически восседает какой-нибудь отставной ветеран, из-под густых и седых усов которого узорчатыми струйками вылетает столь далеко пахнущий дым махорки. Дремучий лес посторонился от домика во все четыре стороны, и на образовавшейся от этого поляне пасется на длинной веревке корова, греется большая собака, – в расчищенном и сделавшемся похожим на пруд болоте ворочаются домашние утки и гуси. Тут же стоит заботливой рукою причесанная копенка сена с распростертым около нее

здоровым мужиком в ситцевой рубаше, в суконной жилетке, по которой развешана бронзовая часовая цепочка, и в больших сапогах, роскошно смазанных дегтем. Затем над домиком витали тишина и дрема, изредка прогоняемые налетевшим из лесу ветерком...

Смотря на такую картину, в каждом штрихе которой виднелись одиночество и беспомощность, никак нельзя было отгадать причины, смогшей привлечь сюда человека на постоянное житье.

– Помогай бог, служба! – начинается разговор, имеющий целью выпытать от солдата, как он сюда попал, что делает, чем живет и проч. и проч.

– А-а? – радостно отзывается солдат живому голосу. – Милости просим, – и при этом приглашении он предупредительно спешит очистить редкому гостю место на только что отструганной лавочке.

– Что это вы, старина, словно медведь какой, в такую глушь забрались? Или по деревьям-то мест нет?

Солдат весело шевелит усами, приветствуя слово, сравнившее его с медведем, – и пошла

история.

Начинается в это время на тихом крылечке нескончаемый разговор про тридцатилетнюю службу. Оказывается из этого рассказа, что у солдата в настоящую минуту три медали и Георгиевский крест, двенадцать ран и четыре контузии, в ушах большой шум, а ноги к ненастью мозжат до такой степени, что, по собственному признанию рассказчика, перед ненастным временем визжит он от этих ног, как связанный просук.

– Учен я такожде, сударь ты мой, сапожно-му мастерству, – продолжается словоохотливая речь одинокого солдата, – и правду ежели говорить, так немец один – в Малой Подьяческой сапожный магазин у него – давал мне в месяц семь серебра на евойных харчах, но только я не пошел, потому всякой сволочи подражать не намерен... Опять же, признаться, и запивойству этому самому, грешным делом, очень даже довольно подвержен; а при хозяине жить с эвтаким мастерством не годится. Народ только в искушенье введешь, – осуждать будут. Мы эти дела, полковую службу прошодши, вплоть понимаем.

– Как же вы сюда-то попали, старина? Домик-то этот ваш, что ли?

– Кой там бес мой? Откуда я его возьму? Из ранца, что ли, прикажешь вытащить. Так ведь я не фокусник, чтобы, то есть, изо рта разноцветные ленты тянуть. А попал я сюда истинно по тому случаю, что от жены бегаю. Вот уж седьмой год пошел, как я от ней себя сокрываю. Люта, – не приведи бог! Теперь вот того и гляжу – сюда привалит. Ну-ка, скажет, старый черт, распоясывайся – отпускай на прокорм супруге третью часть по закону. Поведенья-то она у меня не так чтобы эдакого, то есть исправного, – больше все по приказным шатается; ну, они ей эти самые прошения на меня и прописывают. И так, сказываю, бумагами своими они меня загоняли, – страсть! Ровно волк я от них утекаю. Однажды приютился так-то в Курской губернии у сельского попа на пчельнике (мы к этой пчелиной части сызмальства еще дедушкой-покойником поприучены) и думаю: ну-ка, мол, найди меня здесь! Сам, признаться, радуюсь, потому как можно найти кого-нибудь на пчельнике у попа? Но только радости моей конец

скоро пришел. Сижу я так-то однажды – с пчелками разговариваю, – вдруг из волости десятский на пчельник ко мне: «Ты, говорит, солдат, почему так закону не исполняешь? Тебя, говорит, супруга в третьей части обжаловала. Бумага из Питера насчет тебя у нас в правленье получена. Иди!» Ну, значит, и разорила! Вот и теперь, верно знаю, спугнет она меня и с этого гнезда.

– Как же вы на это гнездо попали?

– А так! купцу я одному очень полюбился. Вот он мне и говорит: «Чем тебе, говорит, по Питеру слонов продавать да с женой судиться, – поди лучше ко мне в сторожа. Я, объясняет, дачу купил не вдали от шоссе и хочу там ватный завод строить». Ну, я и пошел и засел здесь, – раздолье! По крайности, хоть зыку-то этого бабьего не слышать.

– Ну, а как же насчет провизии? Ведь тоже пить-есть надо.

– Уж это как есть! Закупаю больше в городе. На неделю, на две искуплю хлебушка – и сижу. А то недалечко деревенька отсюда, – за лесом укрывается, – так там лавка есть, харчевня, – туда тоже хожу.

– И скоро будут строить завод?

– Да вон подрядчик уж здесь с неделю торчит, – указал солдат на мужика, спавшего у сенной копны. – Все места, по хозяйскому приказу, обглядывает: как, что и где. Но только, надо полагать, малость увидит.

– Что так?

– Сокрушается очень.

– Как это сокрушается?

– Да так! Пьет, ровно леший какой! Видишь вон, как распластался, совсем в бесчувствии. Уж я ныне на него бочки с две воды вылил, – никак не прочухается.

Удивительнее всех приключений, рассказанных солдатом, было то, что обо всех тычках, которыми так торовато награждала его судьба, он говорил веселым, бойким басом, пересыпая свои излияния острыми пословицами, загвоздистыми прибаутками и самой безукоризненной иронией, отшлифованными насмешками на свой собственный счет. Очевидно было всякому, что в какую бы труппу ни запрятали этого старого медведя, он нигде не соскучится с своими тридцатилетними воспоминаниями и рассказами, особен-

но если у него будет какая-нибудь возможность во время своих дум и разговоров посаживать дымящийся чубучок носогрейки.

Не менее бесшабашных и веселых свойств оказался и подрядчик, спавший в сене. Разбуженный громким голосом солдата, он приподнял немного голову и закричал:

– Эй ты, солдатская музыка! Замузычил опять! Эко горло господь старому дураку послал. Целую неделю уснуть как следует не дает.

Солдат ответил на это раскатистым смехом.

– Проснулся? Трубочки курнуть не хочешь ли? – потчевал он подрядчика.

– Провались ты и с трубкой с своей! Осталась, что ли, водка-то? Хоть бы каплю какую... Так это голова балует, – беда! Все кружится у меня в глазах. Ах, лес этот проклятый, как шустро бежит! Корова эта самая за им... Куда? куда? погоди хвост-от задирать... Ну, брат Пар-фен, пошла писать! И Арабка дралки от меня... Ха, ха, ха!

Неси скорей водку, старый хрен, не то, надо думать, и сам я куда-нибудь убегу. Ха, ха,

ха! Тащи скорее.

С еще более громким хохотом солдат торопился нацедить водки из какого-то глиняного бочонка в большущий стакан, крикливо советуя в то же время подрядчику не бегать с лесом, коровой и Арабкой, ибо крещеному человеку, выходило по солдатским думам, не по дороге со всякой животиной шататься.

– Подожди вот лучше стаканчика этого, – грохотал солдат. – С ним куда хочешь иди. Ха, ха, ха! Он тебя во всякое место приведет самым благополучным манером. Верно! Приведет и выведет... Ха, ха, ха!

После стакана, выпитого подрядчиком, он, как бы поднятый какою-нибудь невидимой машиной, вдруг вскочил на ноги, протер глаза рукавом своей рубахи, почерпнул из лужи на лицо себе две-три горсти воды и, взбежавши на крыльцо, подал мне руку, с какою-то ласковою торопливостью пожал мою и заговорил:

– Откуда, барин, господь бог принес? А мы тут с стариком все пьянствуем. Ты не гляди, что он старик, – к нему и теперь бабы из Константиновки шлятся.

– Ха, ха, ха! – басовито радовался солдат. – О, черт! Ведь выдумает же, дьявол эдакой!

– Выдумает! Чего тут выдумывать-то? Он, барин, трех жен засудил. Теперича утруждает вышнее начальство в том собственно разе, чтобы приказано ему было на четвертой жениться. Уж и зубы себе у доктора-немца на Невском вставил... А пропади ты пропадом эта голова! – вдруг оборвал подрядчик свой разговор. – Все еще кружится. Ну-ка, дедушка Парфен, поставь мне ее на настоящее место, чтоб, значит, она не вертелась: наливай-кось три посуды. Все, может, оно складней пойдут делишки-то. Чайку бы теперь хорошо тоже обладать, со сливочками. Я, пожалуй, корову-то сам подою, покамест молодая хозяйка-то к тебе прикатит.

– Ступай, ступай, дой корову, ежели умеешь, – радостно отозвался солдат, – а я тем временем к Верке за самоваром сбегаяю.

– Тащи уж и ее для компании, – посоветовал подрядчик. – Все же с бабой веселей будет. Да прихвати там четвертную, что ли! Ведь не псальмы же мне с тобой, старым чертом, распевать здесь. Я без вина, чувствую, со-

всем с тобой поколею.

– Да будет тебе, черт, – отрезонивал солдат. – Все четвертную да четвертную... Когда ты, идол, за дело-то примешься?

– А ну тебя во все четыре дороги... Бежи-ка скорей, чем раздабырывать-то...

Любо было смотреть на этих двух людей, когда один из них, голова которого только что сейчас кружилась, как крылья ветряной мельницы, с ловкостью патентованной коровницы подсел с подойником под корову, а другой, несмотря на свои семьдесят лет, стремглав бросился в неведомую даль за каким-то самоваром к какой-то Верке.

Не успел я как следует всмотреться в столь любимую мною пастораль, являвшуюся мне на этот раз в виде задумчиво и тихо стоявшей коровы в рамке из настоящего соснового леса, физиономию которой, доселе веселую и беззаботную, надвигавшиеся сумерки с каждой секундой гримировали все серьезнее и серьезнее, – не успел я вслушаться в столь любимый мною звук, обыкновенно раздающийся летними вечерами на сельских дворах, когда хозяйки выдаивают в звонкие горшки теплое

молоко, как вдали в лесу раздалось шуршание веток, отталкиваемых поспешным человеческим бегом, стук чего-то обо что-то металлическое, и затем уже мой обнеженный безмятежною картиною слух резанул своим смешливым бацищем появившийся перед крыльцом солдат.

– Вот он! – орал старичина, погромыхая ярко светлевшимся в вечернем сумраке самоваром. – Насилу отпустила его со мною проклятая эта Верка. Говорит: как бы ты его у меня, солдабат проклятый, не пропил. Ха, ха, ха! Я говорю ей: боисся, шельма, солдата, – да с тем взял, стащил самоварину с печки – и ушел.

– Молодец! – похвалил старика подрядчик из-под коровы. – Што же, она сама-то придет?

– Да уж это как пить дать! – уверял солдат, накаливая самовар еловыми шишками. – Такая она баба, штобы выпивку у соседев пропустить могла!.. Она, брат, свои дела в тонкости понимает... На то она и вдова... Ха, ха, ха!..

Вскорости объявилась и неизвестная до сих пор Верка. Она принадлежала к разряду тех женщин, которые так обильно рассыпаны

по кабакам больших торговых сел и по проезжим дорогам, где с своими ручными тележонками, нагруженными хлебом, калачами, рубцами и печенками, терпеливо заседают с раннего утра до позднего вечера, не стесняясь ни палящим зноем, ни проливными дождями.

Во всю жизнь свою вращаясь в среде ямщиков, извозчиков и разного рода странствующих торгашей, такие женщины очень скоро приобретают не только развязные манеры этого люда, но даже и совсем делаются мужчинами, с басовитою, ничем не стесняющею речью и с кулаками, готовыми во всякое время против любого из дорожных удальцов отстаивать свои гражданственные права.

Одета была присоединившаяся к нашему обществу женщина в какое-то синее, ватное, с круглым воротником, пальто, крепко подпоясанное пестрым мужицким кушаком. Из-под пальто, немного пониже колен, спускалась ситцевая полинялая юбка, а на ногах красовались здоровенные мужичьи сапоги. Выходя к нам из лесу развалистым шагом извозчика, идущего за неторопливым обозом, она вальяжно поплеывала на все стороны шелу-

хой подсолнечных семян, за которыми то и дело рука ее опускалась в карман ватного пальто. При этих движениях можно было очень хорошо рассмотреть, что руки ее были большие, мускулистые и красные, точь-в-точь как у молодых приказчиков в свечных и масляных лавках, и что на руках этих блестяли те характерные, оловянные и медные кольца, которые в таком изобилии получают-ся и раздаются означенными молодцами «в знак любви».

– Это што же ты этто, солдатище поганый, какую такую новость еще придумал? – бойким голосом заговорила Вера, угрожающе покручивая головою, завернутою в толстый ковровый платок. – Ты уж на старости лет с ума не сошел ли? Самовары придумал чужие таскать... А?

Солдат заливался своим обыкновенным, радостным хохотом, ничуть не смущаясь ни обличием Веры, ни злым, наподобие змеиного, шипением самовара, который, зачуввав заступницу-хозяйку, ерепенился все больше и больше и, как бы подлаживаясь к ее недвольному солдатским поведением тону, с

храбро подпертыми в бока ручками, тоже покрикивал и погакивал на солдата:

«А солдат, попался! Ты самовары стал воровать? – с ярко светившейся в вечерней мгле улыбкой звенел самовар. – Не-ет! Подождешь... Не-ет! Мы с хозяйкой хоть и бабы, а обидеть нас вряд ли кому доведется... Так-то!»

– Уж ты, Вера Павловна, – вмешался подрядчик, – не очень пужай у меня солдата-то. Он и так у меня нонишнего числа дюже испуган. Такие напасти па нас с ним, – беда!

– Што так? – спрашивала Вера.

– Ну-ну! – сердито забасил сам солдат, мгновенно переставши грохотать. – Выдумывай там! – Голос старика становился, если можно так выразиться, все медвежистее и медвежистее. – Выдумывай, выдумывай! – повторял он, свирепо громыхая чайными чашками. – Небойсь у тебя от выдумок-то голова не заболит.

На такие, по-видимому, вовсе не смешные речи подрядчик и Вера Павловна отвечали взрывами самого веселого смеха.

– А-а! – хохотал подрядчик. – Сердиться стал, старый шут. Погоди! Сичас барину рас-

скажу, какие такие напасти на тебя навалились. Барин! Слушайте-кось...

– Ну, ну, малый, гляди... – бурчал солдат.

– Да что мне глядеть? Глядеть-то мне на тебя вовсе, так надо полагать, не стоит, потому вы, старичок божий, узорами-то не так чтобы уж очень цветными исписаны. Верушка! Слушай-кось: старички-то наши, ха, ха, ха, Катковы!..

– Эх т-ты, Амеля! Што в ум взбредет, то и меля, – сердито и укоризненно отгрызался солдат, но подрядчик не слушал его. Продолжая хохотать, он толкал под бока и меня и Верушку и кричал:

– Не-ет, барин! Вон они – старики-то – ныне какие! С двенадцатого года еще вот этот самый дед Парфен крупной в казну задолжал – и не отдает... А? Ха, ха, ха! Правительствующий синат от его долгу теперича в большом огорченье... Ха, ха, ха!

– Ха, ха, ха! – вторила подрядчику Вера.

«Ха, ха, ха! – трезвонил им вслед самовар. – Што, солдат, попался? Они тебя проберут теперь. Небойсь перестанешь ты теперь воровать нашего брата!»

– Выдумывай, выдумывай! – уже совсем грозно рычал солдат, ворочаясь в какой-то ху-добе под лавкой. Доселе добродушное лицо его сатанело все больше и больше, – он испод-лобья время от времени поглядывал на под-рядчика, как бы отыскивая в нем такое ме-стечко, в которое можно было бы за один раз уязвить его насмерть и таким манером от-мстить за все насмешки.

Подрядчик между тем разбалтывался все больше и больше. Шепнувши мне, что старик терпеть не может, когда говорят ему про этот якобы долг правительствующему синату, оба они с Верой принялись тормошить его, всяче-ски усовещивая не убытчить казны.

– Ни храшо, дедушка, ни храшо долгов не платить. Это тебе довольно стыдно. Нас, моло-дых, по-настоящему, тебе бы учить следовало.

– Да кому же и учить, как не старичкам! – вторила Вера Павловна, тоже, в свою очередь, потряхивая солдата, взявши его за грудь. – Те-перича, ежели старики от нас, от молодых, от-кажутся... Ха, ха, ха! Что мы тогда без них по-делаем?..

Солдат молчаливо старался освободиться

из рук своих мучителей, неуклюже отвертываясь от них и бормоча по временам: «Ну да будет уж! Не махонькие! Эк видь придумают же!» Но веселая пара не унималась. К убедительным просьбам об уплате казенных круп присоединены были еще убедительнейшие усовещивания насчет того собственно, что нужно же ему, солдату, при близком конце своей жизни вспомнить господа бога и, вспомнивши, сейчас же отправляться к жене и успокоить ее. Все это было выражено такой пронзительно-насмешливой речью и сопровождалось такими плутовскими подмигиваниями, что солдат не вытерпел наконец. Быстрым порывом оттолкнул он от себя подрядчика и Веру, азартно располыхнул на себе рубаху и заорал:

– Да вы што же это всамделе пристали ко мне, дьяволы? – С этим окриком он схватил лежавший под скамейкой топор и бросился на насмешников. Те прыснули от него в разные стороны – и по полю началась крикливая гоньба, все больше и раздражавшая солдата и смешившая его баловливых противников.

– Дедушка! – издали умолял запыхавшийся

подрядчик. – Дай пардону, пожалуйста, – устал. Пойдем помиримся, водочки выпьем.

– Я тебе дам пардону, – шипел солдат в ответ подрядчику, бойким налетом обращая его в новое и постыдное бегство. – Я тебе говорил: не дразнись!

– Дедушка миленький! – кричала, в свою очередь, Вера Павловна, отвлекая солдата, совсем было уже наскакавшего на подрядчика. – Хоть со мной-то, с бабой, замиришь на минуту... Сичас умереть, с этого самого дня никогда тебя беспокоить не буду. И самовар бери у меня сколько угодно.

– Погоди, шкура барабанная! Дай срок, еще я с тобой замирюсь, – грозил солдат, стараясь в то же время щелкнуть по башке подрядчика, который смеялся над ним, укрывшись за толстым деревом.

– Не-ет, не укроешься за деревом-то, – совсем как рассерженное дитя лютовал старичина. – Да-астану! Я тебе голову-то расколу-паю: не выдумывай!..

– Ха, ха, ха! – смеялся подрядчик, выглядывая на солдата то с одного бока дерева, то с другого. – Тронь только, солдатище, сичас к

твоей жене в Питер отправлюсь... Мне все равно, где ни ночевать... Ха, ха, ха! У тебя ли, у ней ли... Еще у ней-то мне, может, в двадцать пять раз расприятней! Ха, ха, ха!

Зарычала в это время стариковская грудь до того болезненно и вместе с тем сердито, что шутка, начатая так весело, могла бы окончиться очень плачевно, если бы Вера Павловна, подкравшись сзади к солдату, не засела к нему на плечи верхом. Живо схватила она могуче взмахнувшую топором руку, стиснула она ее так, что топор брякнулся в траву, и потом, не переставая хохотать, она принялась целовать солдата, клятвенно уверяя его, что она ни в кого не была еще так влюблена, как в него, старого дьявола, и что ежели он хочет, так она будет кажинный вечер ходить к нему чай пить.

– Чем только ты прельстил меня, старый шут? – спрашивала и с недоумением и со смехом Вера Павловна у солдата, сидя у него на плечах, между тем как подрядчик, ухвативши его за обе руки, тихо и осторожно подводил к крыльцу, словно усмиренную лошадь.

– Нн-ну, дед! Нечего тут упрячиться-то!

Лучше нам теперь с тобой смириться надоть. Эко, в самом деле, при старости лет, шутки не распознал, за топор схватился. Эко, правду-то сказать, до чево тебя, старый демон, бесы-то обуяли в одиноком месте.

Вследствие сильного конфуза, охватившего солдатское лицо при напоминании о схваченном и взмахнутом на веселую, дружескую шутку топоре, по глубоким морщинам этого лица разлились, как полая вода по канавам, печальные тени стыда за свою горячность, желание быть прощенным в такой вине, за которую, по-настоящему, следовало бы закатить обвинителю первейшего сорта плюху... Багровые и синие оттенки, легшие было по впадинам солдатского лба, откликаясь ласкам подрядчика и Веры Павловны, постепенно исчезали. Можно было, несмотря на темный вечер, видеть, что старик ничуть не прочь от компании, лишь бы только представилась мало-мальская возможность поладить с дурацким грохотаньем этой компании над ним, стариком солдатом, и над его питерской молодой женой.

– Ну, ну, – бурлил солдат перешедшим в

мягкий тон голосом. – Не буду, не буду, пристыдили... Ну вас совсем! Эки, черти, надсмешливые какие!

Говоря это, он потихоньку старался снять с своего загорбка оседлавшую его Веру Павловну, – тихо так старался совершить это, чтобы, избави боже, не полетела женщина с высокой спины и не брякнулась об сырую землю, – исподволь поталкивал подрядчика под локти, чтобы он выпустил его из своих крепких рук, и временами стыдливо усовецивал:

– Да будет же!.. Ну, ведь пристанут!.. Всегда вот от вас спокою мне нет... Говорил: не приставайте...

– А, спокаился, старый! – смеялся подрядчик. – Иди теперича водку пить. Барину без нас скучно.

– Слава богу! – откликнулась Вера Павловна. – Што? Усмирился? – толковала она солдату и при этом, все равно как бы мужу, ворошила ему волосы, осыпая его в то же время несчетным количеством поцелуев. – Будет, будет сражаться-то! Иди-ка вот подноси луччи! Самовар-то небойсь не даром украл у меня, теперича потчевай, а то завтра же бумагу

на тебя взбухаю. Так и так, мол, ваше высокоблагородие, солдат, мол, у меня – у бедной вдовы – самовар стащил...

Скоро после этого общество, рассеявшееся было на господский манер за самоваром, решительно ополоумело, подгоняемое подрядчиком пить поскорее как можно, чтобы, как он говорил, души не тосковали. Послышались какие-то совсем неподходящие разговоры:

– Ты меня как понимаешь, старый черт? – приставала Вера Павловна к солдату. – Ты за што свою супругу не почитаешь? Рази ты можешь понимать женское сердце? А?

– Стой, Верка, стой! – перекрикивал ее подрядчик, обращаясь ко мне. – Ты, барин, почему по такому не пьешь? Ты, может, теперича брезгаешь нами, што вот мы с тобою в компанью зошли. Как ты теперича полагаешь про нашу с тобою за этот случай расправу? Ведь здесь шоссе... Ведь теперича, правду-то ежели говорить, ночь...

– Барин! Барин! – перебила подрядчиков нехороший разговор Вера Павловна. – Нет! Слушай: могут они – эфти самые мужичье – понимать как следует женское сердце? Смо-

лоду, с господами водимшись, они па-ан-ни-мал-ли; ну этим таких понятий не дадено... Крушишься, крушишься с ними... Ах!.. Кажется бы...

Восклицая таким манером, Вера Павловна отчаянно всплескивала руками и горько плакала, – я старался успокоить ее. Подрядчик никак не отставал от меня.

– Почему ты не пьешь? Ты, может, от меня Верку отбить хочешь? Я почему знаю...

– Нне-ет! Он не отобьет! – с глубоким убеждением говорил солдат, энергично постукивая по столу чайником. – Н-не-ет! Это ты врешь! Он не из таковских! Он ко мне пришел, не к тебе. Ты да-а-кажи прежде всего...

– А ежели ты барин, – приставал ко мне подрядчик, – посылай за господским вином. Мы тебя своим мужицким угощали, угости нас своим господским. Я господские вина очень люблю... Теперича: мушкатель, а либо это, как его, беса?..

– Взять-то где, друг? – спрашивал я, проникнувшись глубоким сознанием в справедливости подрядчиковых слов, что я темною ночью и захожим, одиноким человеком сижу

на шоссе в незнакомом домике с незнакомыми и здорово выпившими людьми. – Ты вот, чем поталкивать-то меня, давно бы уж сказал, где и как этим господским вином раздобыться, я сейчас и угостил бы... Рази мы за этим стоим?

– Целуй! – заорал подрядчик. – Люблю молодца! Думал, што ты через это в обиду взойдешь. Я бы тогда тебя разутюжил... Целуй!

Начались крепкие и общие всего случайного сборища целования.

– Целуйси, барин, со мной! – не то плакала, не то в азарте приказывала мне Вера Павловна. – Я давно не целовалась с такими-то. Они – эти дьяволы-то – разве што понимают...

– Нет, ты вот с солдатом-то похристосывайса, милый человек! Солдат-то, он, может, всякого за тыщу верст разглядит: кто, как, што такое, чем занимаетца! Ха, ха! ха! У нас трудно! Мы всякое знаем. Подрядчик! Наливай нам с барином, потому против меня ты своими годами моложе, а с барином не можешь чинами тягаться...

Отдавался старик всем этим соображениям уже не как прежде – весело и снисходи-

тельно похихатывая в полной готовности оказать милому человеку всякую услугу, добродушно перенести от него всякую штуку; напротив, теперь он вальяжно развалился на скамейке, протянул длинные ноги и пофельдфебельски насурьезил свое лицо. Против всякого ожидания, подрядчик, недавно еще так деспотически распоряжавшийся солдатом, в это время, повинувшись его слову, сейчас же принялся с поклонами угощать всех нас вином, купленным на его же деньги, и чем дальше шло опьянение, тем солдат делался все требовательнее и повелительнее, а подрядчик уступчивее и исполнительнее.

– Мы теперича его бережем, – шепнул мне подрядчик, несмотря на то, что был сильно пьян. – Старик ведь, сами посудите – много ли ему надо? И кроме того, жисть это у него самая вот какая, што собаке дорожной не захочешь. Ну и спускаем... По эфтому по самому... Жалеючи... Мы его любим...

– Ну, ну, наливай мне! – покрикивал солдат. – Што там шепчешься? Опять, может, надо мной надсмеиваешься?

– Кушай, кушай, дедушка! – смиренно и пе-

чально потчевала деда Вера Павловна, стоя перед ним с здоровым стаканищем. – Какие там еще надсмешки придумал? Пошутили малость, ну и будет... Смирись-ка!

– Вот это я люблю, потому зачем нам дружно друга обижаться? А ежели бы я, то есть, этого послушанья от вас не увидал, я бы вас всех расшиб. Вот и барина тоже заодно вместе с вами расшиб бы. Вы думаете: я не вижу? Вы думаете небойсь: пьян напился старик? Не-ет, паас-стой, шал-лишь!

Выпивка с каждой минутой крепчала все больше и больше. Подрядчик бегал куда-то за господским вином, которое он скоро и притащил в большом рогожном кульке в таких размерах, про какие с ужасом говорится: батюшки! Да тут несть числа... Вскорости на нашем столе гордо выстроилась батарея бутылок, аляповато разукрашенных золочеными бумажками, рекомендовавшими, что в одних бутылках заключался – херес самый выщей, в других смиренно янтарился – ром имайской фторова сорту; но смиренность этой печатной падписи было отличным образом выкуплено каким-то, очевидно, презиравшим всякую

каллиграфию, карандашом, который бойко прописал на печатной этикетке свое следующее личное мнение о роме второго сорта: но на вкус ах как приятен! На большинстве принесенных подрядчиком бутылок тот же карандаш просто-напросто, без церемонии, похеривал французские названия, именовавшие вино, и вместо всего этого властительно подписывал: *Эфто на ашипке. Здесь жульент пыпалам с ввещей мадеро! Здесь донская с розами – сорт не Так штоба но крепастъ всибемейт балшую пытаму шипка отдаеть самым нежным пымаранчикам* и т. д. и т. д.

Подрядчик был в восторге от всех этих прелестей. Угощая, он убедительнейше просил всех выкушивать и не жалеть вина, потому оно – этот самый херес – хоша, признаться, и не дешев, только нам все это пустяки!.. Мы, слава богу, на своем веку много всякого видавали...

Горожанина с самым тонким образованием изображал из себя подрядчик в то время, когда обращался с бутылками. Он то с важным видом знатока рассматривал их на свет, приставая к нам с вопросами: «Эдакого не

пить? Таккова-то штобы не употреблять? Ды я голову на отсеченье!», то вскользь подсмеивался надо мною собственно, утверждая, что «на такое-то винцо и у господ-то у иных, примерно, губы-то сами по себе оттопыриваются, только не всякий господин может изнять эфдакую бутылку своим капиталом...» Поднося солдату стакан с каким-нибудь сокровищем, он сатирически осведомлялся у него: часто ли их в походах угощали таким-то?.. Солдат весело грохотал на такие запросы и, смакуя вино, без всякой амбиции говорил:

– Нет, брат, не так чтобы очень часто, ей-богу! Ха, ха, ха! Подлей-ка вон еще энтого-то мне в стакан – желтого-то... Я опробую малость!.. Ух! хорошо жить этим богачам – шельминным детям!.. Н-ну, напитки!

Только одна Вера Павловна, – и то косвенно, в разговоре со мной, – выражала подрядчику некоторую оппозицию, рассказывая, что нет ничего хуже на свете рабочих мужиков, которые по дорогам с своими инструментами шляются.

– Вот хошь бы этот демон! – указывала она мне на подрядчика. – Шляется, шляется так-то

по целым дням, в иное время с голоду околе-
вает, шtbody это скопить, то есть, побольше
денег и разом форсу на них задать. А кто в его
форсе нуждается? Его же всякий человек про-
смеет... Лучше бы жене в деревню послал.
Небойсь ребятишки там с голоду все перемер-
ли.

– Вера Павловна! – как бы глубоко удивля-
ясь несправедливости этой речи, восклицал
подрядчик. – А-ахх, Вера Паллна! – укорял он
ее, внушительно покачивая головою. – С-
стыдна, матушка, вам так рассуждать про
гыс-спод кавалеров! С-стыдна! Кавалер, што
нонишнего числа ежели пропил, завтришне-
го числа, будем говорить, примером, он в ты-
щу раз того больше достанет... Не ожидали
мы от вас...

Пошли тут у новопожалованного кавалера
с Верой Павловной по различным жизнен-
ным пунктам страшные препирательства.
Все больше и больше входя в роль городского
франта, в совершенстве знающего, что и как
делается на белом свете, кавалер, несмотря на
то, что Вера Павловна обзывала его бахвалом
и дураком, с какою-то исполненной особой

учтивости манерой, очевидно, доставлявшей самому ему громадное удовольствие, уверял ее, что этому поверить образованный человек ни под каким видом не в состоянии.

– Нет, в состоянии! – спорила Вера Павловна, впадая тоже, в свою очередь, в тон светской дамы, расположенная к тому и выпивкой, и роскошными принадлежностями, ее обставлявшими.

– То есть, ни боже мой, не поверит! – настаивал подрядчик, уставив красное лицо в лицо Веры Павловны и, как настоящий кавалер, заложив руки за спину...

– Што ты дурак-то? Этому не поверят? Ха, ха, ха! – раскатывалась со смеху Вера Павловна. – Тут и верить-то нечему, на лбу прописано: бахвал ты был, – я тебя, слава богу, не один год знаю, – бахвалом на целый свой век и останешься...

Стоя перед карательной Верой Павловной, подрядчик хотя и конфузился, но видимо было, что за этот конфуз он был в такой степени награждаем сознанием своего учтливового терпения, что мало тяготился этим перевесом, который возымела над ним простая, немного

выпившая и, главное, ни бельмеса в кавалерских делах не смыслившая женщина.

Даже возглас солдата, вдруг забурлившего: «Эй ты, подрядчик, подходи ко мне, молоко-сос т-ты эд-дакой, ба-аххвал, я тебя за вихры оттреплю, потому я старик...» – ничуть не рассердил уверенного в себе подрядчика. Он только отошел от Веры, с сожалением махнул рукой на старика и молча подсел ко мне, красноречивой жестикуляцией стараясь объяснить захожему барину: вот, дескать, в какие несообразные компании затаскивает иногда судьба нашего брата – образованного человека!

Занявшись исключительно общением со мною, он осушил несколько стаканов с самой деликатною смесью и, в пику Вере, принялся сочинять мне великолепную эпопею о том, как у них поживают в родной Костроме, причем сия губерния, про которую во всех географиях согласно написано не более того, что Кострома – похабная сторона, была описана такими блестящими красками, от которых бы несколько не побледнели красоты Италии.

Смесь, выпитая подрядчиком в ужасаю-

щем количестве, разгорячивши его воображение до последней степени, в то же время сковала язык, страстно желавший как можно лучше рассказать сложившуюся в пьяной голове сказку про родину, – и выходило из этого то, что и должно было выйти, то есть несвязное бурление, вызывавшее со стороны Веры Павловны все большие и большие насмешки, а со стороны солдата яростно-повелительные приказания – подойти к нему, старику, и подставить ему свой овин, чтобы таким образом старик получил возможность поучить уму-разуму бахвала и дурака.

– У нас, я вам прямо скажу, – притворяясь не пьяным, лепетал подрядчик, – у нас мужики иные по сту тыщ «на стороне» наживали... Теперича они купцы...

– Да ведь не ты нажил-то, бахвал! – подстрекала Вера Павловна. – Вот подожди, совсем скоро прогоришь...

– Про-огоришь и есть! – уверенно соглашался солдат, и как бы в предупреждение этого прогорания он своим обычным тоном в сотый раз повелевал подрядчику: – Подходи, што ли? я тебя поуччу. Эй, малый! Поскорей

подходи, не введи меня в сердце... Верушка! Ну-ка, наливай! Выпьем мы с тобой одни... Ну его к бесам – этого дурака! Сидит тут цельную неделю – пьянствует; а придет хозяин, кто за него в ответе? Я! Ты, хозяин скажет, што за ним, за дураком, не смотрел, старик? Так-то! Кушай-ка, Верушка!..

Я чувствовал, что мне время было улепetyвать из компании, потому что подрядчик в свой интимный разговор со мною начал вклеивать сердитые вводные предложения, характеризовавшие и Верушку и солдата с очень-очень нехорошей стороны.

– Так-то, барин! Теперича хошь меня взять: я и плотник, я и в лавке могу сидеть, я и в лошадях толк знаю... Ишь ведь, стерва, до сих пор не унимается! – шепотом ответил всезнающий человек замечанию Веры Павловны, перебившей его похвальбу обращением к деду-солдату.

– Дедушка! Ха, ха, ха! Слушай-кось, про что сокровище-то наше толкует: мы, говорит, и в кабаках первые, мы и в трактирах первые, и в трынку завсегда можем сразиться... Одну только правду во весь вечер сказал. Как толь-

ко его от эфтой правды не разорвало!..

– Верно! – поддакнул совсем опьяневший солдат. – Подходи, подлец, проучу, не то пропадешь без меня.

– Вот ты и угощай таких-то стервецов! Истинно, што не в коня корм пошел. Нашел тоже и я, кого дорогим вином угощать, дурачина. Право, ей-богу, дурачина...

* * *

И между тем как подрядчик, уткнувши в ладони недовольную голову, бурлил что-то про тварей, не понимающих хорошего обхождения, я потихоньку спустился с трехступенчатого крыльца форменного домика, оглядываясь, дошел до леска и по его тихой, обрызганной вечерней росой опушке выбрался на шоссе.

Оглянувшись по направлению к только что покинутому мною домику, я увидел сквозь ветви пройденного мною леса беспокойное и порывистое миганье свечи, стоявшей на резном крылечке вместе с самоваром. Это миганье, то очень ясно вспыхивая, то как будто совсем угасая, представлялось мне бегущим за мною и тревожно молящим:

«Да куда же ты? Ради Христа, царя небесного, – воротись! Ведь у нас тут буйство пошло! Насмерть раздерутся, пожалуй. Поди дай им хошь какого-нибудь уйму...»

Признаться, я не послушал этой просьбы. Я, напротив, удирал от нее во все лопатки. За мною по следам стремительно бежал пронзительный крик азартно бушевавшей драки.

– Кр-раулл! – почти из-за целой версты доносила до меня вечерняя тихая заря звонкий голос Веры Павловны. – Душегубец! Батюшки! Задушил совсем, помогите!

Вслед за этим выкриком по уснувшему лесу бурей пронесся хриплый бас старика-солдата, тоже кричавший:

– Кр-р-раулл! Н-не-ет-т! Па-ас-стой, бр-р-раат!

Затем мое сторожкое ухо слышало глухой и пугающий шум ожесточенной свалки... Хотелось бы поскорее встретить человечков двух-трех, побежать с ними к домику и прекратить эту свалку; но, вместо человечков, из-за леса, огибавшего в этом месте шоссе крутым полукружием, навстречу мне вдруг выдвинулась громадная прищоссейная хар-

чевня, с необыкновенной насмешкой смотревшая своими бесчисленными, ярко освещенными окнами на многое множество возов, обставлявших ее, на сонных и бессмысленно понуривших свои головы лошадей, впряженных в эти воза, на самое шоссе, на деревья, обставлявшие его, и, наконец, на грандиозные, но не жилые дачи, которые гордо облокотились своими верхними этажами на аллеи чащи, не пускавшие в их зеркальные окна ни дорожной пыли, ни зазвонистых песен ездового шоссе человеческого...

На крыльце харчевни неопределенно рисовались покрытые густым ночным мраком фигуры извозчиков. словно волчьи глаза светились папироски, которые они курили. Слышен был здоровый грохот.

– А ведь это непременно опять солдат с кем-нибудь сцепился! Экой здоровый какой этот солдат на драку.

– Да што же ему больше делать-то?

– Веселая там у них компания собралась. Верка, это – баба – убить да уехать. Она медни шалопут какой-то из приказных по шоссе на богомолье шел, – возьми да зашутит с нею, так

она ему нос откусила. Так это хрящик-то и сцарапала весь – право, ей-богу!

– Ха, ха, ха! – приветствовался этот анекдотик дружным хохотом. – Што же, ничего ей за это не было?

– Да што же с нее возьмешь? У ей, может, и имущества-то только всего и есть, што...

– Гра-а, гра, гра! – раскатились новые волны буйного смеха и заставили вздрогнуть тихую и о чем-то глубоко печальном думавшую ночь.

Подошедши к крыльцу, видно было, что на нем стоят и сидят с десяток ломовых извозчиков, с полами, заткнутыми за кушак, с ременными кнутами, с трубками, вальяжно и непостижимо как придерживаемыми углами губ; несколько мастеровых с ближних фабрик с вонючими папиросками и, наконец, сам хозяин – лысый апатический старик, в ситцевой рубахе, с расстегнутым воротником, в широких синих штанах и босой. Вытянув на коленях свои длинные руки, он решительно не обращал никакого внимания на те многочисленные шуточные замечания, которые сыпались со стороны общества по случаю криков,

долетавших порой до самой харчевни из солдатского домика.

– Кто кого – хорошо бы узнать, – интересовался молодой фабричный в немецком сюртуке и в опорках, обутых на босую ногу.

– Што же тут узназать-то? Ежели теперича Верка за солдата заступится, – подрядчик не выстоит... Ну а без эстого солдат – пас!.. Туго придется ему, – надо прям говорить.

– Господа! Побежим к солдату, – предложил я, подошедши к крыльцу. – Разнимем их, разведем.

– Ишь ловкой какой! – отвечали мне. – Их теперича сам черт не растащит! Собак вон, какие ежели, примером, дюже сгрызутся, можно водой хоть разлить; ну а нашего брата нельзя.

– Да я тебе, барин милый, и то скажу, – унылым голосом помилосердовал над моей неопытностью какой-то фабричный, – што ежели ты всех это людей, какие по шасе ходят, разнимать будешь, – а и-их какую работку на шею себе навалишь! А за работку-то за эту тебе же по шапце накладывают, пожалуй, – не посмотрят, што барин. У нас тут по этим

местам, милый человек, темно насчет этого, – плохо разбираем... Опять же и по безграмотству простой народ часто не разглядывает: вместе с шапкой-то иной раз, по грехам, и голова прочь отлетит... О, о-хо-хо!

Веселая шутка, выраженная так уныло, встретила единодушное одобрение.

– Эка черт – тихоня какой! – хохотали извозчики. – Сидит-сидит, да уж и высидит. Говоришь: по грехам прочь тут у нас головы-то отлетают! Ха, ха, ха!

– Да ведь, боже мой! – еще унылее и сокрушеннее воззвал мой советчик. – Ды гыс-спадда!.. Сами посудите, рази на всяк час уберегешься?.. Размахнешься так-то иной раз, шутки для ради, ан глядишь: душа-то эта самая во-она уж где, матушка! – растягивал мастеровой, указывая на небо... – Ведь ее оттуда не снимешь, как курицу с насести... Ведь он, грех-то, невидимо с искушеньем-то к нашему брату подходит... Знамо, как бы он приходил... Конечно што... О, о-охо-хо!..

– Ха, ха, ха! Нев-видим-мо? – спрашивали извозчики. – Ах! И идол же, братцы мои, этот тихоня! Как это онамедни он под Степкиным

кабаком господина одного пьяного оборудовал, – не приведи бог! Ха, ха, ха!

– Ну уж это, кажись, не вам бы говорить, не нам бы слушать, – своим обыкновенным, звучащим уныньем и печалью голосом отрезонил тихоня, сходя с харчевенного крыльца. – Помолчали бы лучше, право; я бы, хоть побожусь, денег бы с вас за это ни копейки не взял.

Затем, обратившись лично ко мне, он тягуче и деликатно сказал:

– Ваше высокоблагородие! Благоволите, пожалуйста, на полштофа мне с ребятишками. Мы вот тут на фабрике бумажной живем, – мимо пойдете, увидите... А что в случае насчет разниманья, как вы изволили говорить давича, то эфто напрасно, потому тут, я вам доложу-с, караулы эти кажинную секунду провозглашают-с...

– Покойной ночи, господа, – раскланялся тихоня с извозчиками, стоявшими на крыльце, и со мной, – просим прощенья, сударь! Извините, что беспокоил вашу милость...

И лишь только это мое приятное знакомство скрылось, как поется в одной песне, в

темноте ночной, как многозначительные слова его относительно нередкости караулов в ихних темных местах блистательно оправдались. Из харчевни, в которой до сих пор разухабистые русские песни целиком, так сказать, проглатывали монотонное голошенье чухон, заглушивши и русских и чухонских певцов, пересиливши визг скрипки и бумканье и треньканье бубна, разнесся громкий и протяжный караул, явственно повторенный мрачными деревьями чуть-чуть видневшегося вдали леса.

– Вот извольте прислушать-с! – сказал мне тихоня, еще недалеко отошедший от меня. – Каждую секунду так-то, можно сказать. Вот подите-ка разнимите. Просим прощенья.

– О, черрти! – забурчал босой старик с растегнутым воротом, поднимаясь с лавки так же апатично, как апатично сидел. – Когда на вас, на дьяволов, угомон будет. Ну уж и задам же всключку какому лешему, – благо с места подняли...

– Покрепче, дедушка, поприжми, как можно покрепче! Што, в самом деле, за буянство такое, в кабаке ровно, – советовали дружным

хором извозчики, как будто они сами стояли вне всякой возможности произвести в дедушкином трактире драку, смертельную в пятьдесят раз только что начавшейся драки.

– Кр-раул-л! – продолжала выкрикивать многооконная харчевня, сопровождая свой крик звоном разбиваемой посуды, треском и грохотом опрокинутой мебели, человеческим яростным кряхтеньем, вместе с которым обыкновенно рассыпаются молодцовские, сразу укладывающие в гроб удары, и т. д., и т. д...

* * *

Всю ночь эту я прошагал по шоссе, околдованный его могучим ночным движением. С каждым шагом все более и более входил я во вкус шоссеинной трагикомедии, непрерывно, в продолжение всей ночи, разыгрывавшейся на тему караул, – трагикомедии, обставленной мрачною ночью, мрачными деревьями, угрюмыми домами, заревом настоящих пожаров и налетавшим изредка на мой правый бок шаловливым, но сильным ветром, который временами отпускал порезвиться на шоссе спокойный в ту пору Финский залив...

Все вокруг меня, исключая человека, было могущественно спокойно и подавляюще гордо!..

Сзади себя я долго слышал беспокойный и неразборчивый гул оставленного города. Ежели издали, при благоприятствующей ночной тишине, подольше прислушаешься к этому гулу, то явственно увидишь и услышишь, как многолюдная толпа, населяющая большой город, сваленная в одну кучу своими жизненными надобностями, копошится в этой гибельной свалке, то невинно страдая, то сладострастно рыкая из самой глубины наилучшим образом удовлетворенной утробы...

Этот городской гул и мои собственные думы о бесчисленных жизнях, производивших его, отлично увеличивали в глазах моих интерес шоссейного представления, потому что тема его, целиком вся заключающаяся доселе в одном только слове – караул, – теперь, долго и тщательно продуманная мною, распалась на множество отдельных мотивов, звучащих всем, что только есть в природе человеческой сильного и слабого, восторженно счастливого и глубоко скорбного.

Шагая, я рассек играющуюся драму, вопреки всем существующим правилам словесности, на два гигантских акта. Действующими лицами в первом акте были толпы, отливавшие от города, во втором – толпы, валившие в город. Место действия в обоих актах общее: желтое, бесконечно длинное шоссе, сплошь окаймленное густыми деревьями, которые временами таинственно шуршат скрывающемуся в них бродяге, что поосторожнее, мол, друг, соблюдай себя! Не очень-то высовывайся с своими глазами, блещущими лихорадкой и голодом... Видишь, какая тьмища народу валит! Должно, и нынешнюю ночь придется тебе голодом посидеть. Что делать? Потерпи! Вот, может статься, на зорьке-то и приуснет кто-нибудь...

По левой стороне шоссе тянется сумрачный лес, кое-где вырубленный и дающий место или барской даче, или харчевне, или кабаку, или, наконец, кузнице с адски пылающим горном. За лесом, на мгновение освещая его редины, то и дело пролетают поезда железной дороги, пронзительно вскрикивая и оглушительно гремя звонкими цепями. Про-

летевши, поезда набрасывали на лесные вершины прозрачные, грациозно волновавшиеся покровы, униженные огненными искрами, наподобие того, как женские вуали унижаются иногда блестящими бусами.

На правой стороне декорации еще лучше: там в спокойной гордости, освещенные месяцем, искрятся волны залива. Высоко над его поверхностью рассыпано бесчисленное множество светлых, весело подмигивающих издали точек.

Точки эти, то выстраиваясь длинными прямыми рядами, то кружась около друг друга и перегоняясь, кажутся грациозными речными духами, созданными из задумчивых месячных лучей, из облаков, расцвеченных многоцветными колерами восходящего или заходящего солнца, наконец, из этой морской волны, не то синей, не то голубой, не то, как янтарь, прозрачно-желтой, которая тем не менее, в какой бы цвет ни казалась окрашенной человеку, вечно губит его, разговаривая какие-то одинаково холодные и неразборчивые речи как над счастьем, утешенным им, так равно и над горем...

Но вот бойко и крикливо мчавшийся из Петербурга пароход врезался в середину плясавших огней, повелительно заорал на них – и тайна, совершавшаяся вдали на сумрачном море, разоблачилась. Огни, в которых глаза шоссейного мечтательного человека расположены были видеть игривых морских фей, были не что иное, как фонари, развешанные на высоких барочных мачтах. Вот барки эти, увертываясь от налетевшего на них парохода, кажут свои темные неуклюжие бока, – мачтовые фонари начинают мигать болезненно и трусливо, словно бы спасаясь от быстрого преследования парохода; а пароход еще повелительнее и горластее орет на них.

«Пошел! Пошел! Нечего мяться-то. Раздрезаю сейчас, ежели с места не поворачитесь...»

И все, что только жило описываемой ночью в этом темном месте, было как нельзя более согласно с речью проворного парохода.

«Пошел! Пошел! Сторонись, – раздавлю!» – яростно свистела железная дорога.

– Проходи! Проходи! – с злостью кричали друг на друга встречные шоссейные извозчи-

ки, хлестко обравнивая кнутами и встречных знакомых, и их лошадей. – Эк стал, леший, на дороге-то! Для тебя, что ли, одного она?

А издали, сзади, в каких-то неясных, но богатых очертаниях рисуется город. Мощно смеясь, он вытискивает от себя толпы ненужного ему народа, шаг за шагом следит за его тревожным движением – и, не взирая ни на усталость толпы, ни на ее разнообразные муки, безжалостно шумит:

«Иди! Иди! Тебе же хуже будет, ежели остановишься, – тебя же стопчут и раздавят тысячи ног...»

Толпы эти, встречаясь с противоположными толпами, тоже, в свою очередь, орали:

– Старр-ранись! Раз-здавлю! – Экое место проклятое, – словно бы не люди на нем разъезжают, а живорезы какие-нибудь.

Во всю тихую ночь и по всему шоссе не смолкая раздавались такие бурливые разговоры людей, столкнутых в плотную массу могучей рукой столичного города. Бесконечно варьируясь, разговоры эти шумели оглушающей, ни на секунду не прерывающейся грозою, в которой главными нотами были: поры-

вистый бег множества людей, стремившихся будто бы для предотвращения какого-нибудь страшного несчастья, звонкие удары и жалующийся, протяжный – кр-раул...

«Что это за исключительная жизнь? – недоумевал я, вслушиваясь и всматриваясь в кипевший около меня водоворот. – Нужно этим адом поболее заняться, – пойдём дальше и посмотрим на него при дневном свете...»

Таким образом целую ночь тянулась описанная местность, изумляя меня своей неутомимо крикливой живучестью и заставляя вдумываться в причины этой живучести, которой мне не приходилось подстергать на других дорогах.

Попадались встречи добрые и недобрые.

– Проходи, проходи! – гневно покрикивали некоторые из ночных людей, когда я подходил к ним с целью завести приятное знакомство и расспросить кое о чем. – Што около воев-то трешься, шаромыга ты эдакая, полуночная? Выровняю вот кнутом, – не будешь пугать лошадей.

Другие на вопрос, как и что? – недоумевая, отвечали:

– Да ведь как ее там!.. Разберешь разве?.. Город!.. Одно слово: столица... Мнет тебя отовсюду – прет... Хочешь не хочешь, а иди, потому строк... Всё теперича пошли контракты, с записью... У нас хозяин очень строг насчет этих самых контрактов. По рассказам, он обанкрутился недавно, так крепче еще, по

этому случаю, взлито-вался.

Попадались и такие молодцы, которые, присевши около канавы, обрамлявшей шоссе, радушно и ничуть не стесняясь, покрикивали мне:

– Эй, баринок прохоженький! Твое благородие! Иди компанью разделим. Я вот десять бутылок пива али вина какого (черт его разберет в темноте!) слущил. Не слажу никак один, иди присусежься! А то все равно на дорогу вылью.

– Ну а как тут у вас заработки-то? – спрашиваешь паренька по дальнейшем знакомстве. – На фабрике где-нибудь или так?

– Заработки? – весело переспрашивал молодец, разбивая камнем бутылочное горлышко. – Да заработки, ежели теперича по здешним сторонам... Ка-ак же-с! Я вот сегодняшнего числа попону с лошадей добыл да четыре каретных фонаря отвинтил... Аплике фонари!.. Первый сорт!..

«Черт знает что такое!» – раздумываешь, идя дальше.

К концу ночи я познакомился с одним хлебопеком. Он ехал на громадной телеге, в кото-

рую был впряжен еще более громадный мерин. Хлебопек великодушно пустил меня к себе в телегу, солидно и толково отзывался на мои вопросы, и когда я окончательно пожелал узнать от него, как это здешнее население ухитряется удовлетворять своим прихотливым наклонностям, он многозначительно отвечал мне:

– Да ведь как тебе, судырь, доложить насчет этого дела? Сам рази не видишь, какие тут около нас костры большие горят, – ну вот щепочки-то иной раз от тех костров до нас целенькие и долетывают... Щепочками-то эфтимы мы и живем... Так-то-сь!..

Говоря это, хлебопек хмыкал в бороду, знаменательно взглядывал на меня, сопрягая, так сказать, эти взгляды с хмуреньем густых черных бровей, и пересыпал высказанную мысль фразами вроде того, что «вот так-то! Вот ты теперь и понимай, как сам знаешь! Костер, мол, горит, а мы, маленький народец, все насчет щепочек, все насчет щепочек», а потом вдруг, ни к селу ни к городу, спросил: «Нет ли у вас, барин, чего продажного – подешевше, походнее?»

– Нет! Продажного у меня ничего нет, – отвечал я.

– То-то! А то здесь часто нашему брату нажить доводится. Прогорит это господин какой-нибудь в Питере, шатает, шатает его ветер-то по разным сторонам – и сюда занесет. Вот мы у таких-то покупаем частенько... Пытаму им смерть... Поэтому я, примерно, и к тебе-то... Думаю, мол, продает што-нибудь ночным временем... Посходнее ежели што... Оно отчево же? Деньги при нас завсегда есть... Состроил я тут неподалечку избенку, так оно, конечно што, и гондобись...

Тут я понял притчу хлебопека про горящий костер и про разлетающиеся из него на далекое пространство щепки...

При свете наконец-таки проглянувшего дня показалась небольшая группа домов, которую нельзя было никаким образом назвать ни селом, ни деревней, ни городом, ни посадом, так как в ней в одно и то же время отличным манером бунтовали все элементы поименованных жилищ русского люда. Скорее всего это было сбившееся в кучу протяжение пройденного мною пути, оглашаемого ка-

раулом, – и потому группу эту я назову Карауловкой.

Несмотря на раннее утро, улицы Карауловки были битком набиты многообразным людом. У ее кабаков, харчевен и мелочных лавок теснились извозчицьи кареты, коляски и пролетки, перемешанные с одноколками чухон и с громоздкими русскими телегами. Песни и караулы несмолкаемо летели из окон этих увеселительных заведений. На лавочках, непременно приделанных к воротам каждого дома, восседали благодушные компании с носами, очевидно расположенными к жарким разговорам, – и потому самыми ощутительными нотами в этом неразборчиво гудевшем улье были фразы: «слидовательно, – выфта-рых, – возьми ты теперича, к примеру, мне и себе, – можешь ли ты панимать, к чему это сказано: што, гыварить, прейде, гыварит, сень законная...», и т. д. и т. д.

Временами из этого благодушия выдавался тоже хотя и благодушный, но тем не менее подавляющий голос громадного человека в серой шинели, в белой фуражке, с длинным железным палашищем в руках.

– У нас, брат, лошадь, я тебе прямо скажу, – рассказывал военный человек какому-нибудь штатскому человеку в одной рубаше и в картузе с купеческую подушку – у нас, брат, – семьсот целковых. Опять – обучи ее, прокорми... А? Чивво эфто стоит?

При этих словах солдат откидывался назад, красиво налегая на ручку палаша и пристально всматриваясь в лицо вопрошаемого. Вопрошаемый страдательно поникал головою перед этим взглядом.

Презирая бойкость уличной картины, по самой середине шоссе, с рыжими котомками на плечах, тянулись пучеглазые странники и смиренные, отрепанные странницы с очами, опущенными долу. Бочком и поистине с ловкостью привидений, проваливающихся в сценический пол, пробирались они в кабаки, опасаясь как будто, чтобы мирские завистливые глаза, смотря на их несообразное с странническим видом поведение, не впали в искушение и не осудили их. Зато, выходя из кабаков, персонажи сии держали себя гораздо смелее. Некоторые из них принимались приставать к приворотным карауловским компа-

ниям насчет милостыни, рассказывая при этом необыкновенно ужасные истории о постигших их злключениях; другие, сочинивши в кабаке доброе знакомство с странствующей особой женского пола, плелись по шоссе дальше, не обращая ни малейшего внимания на хохот уличной толпы, оравшей по следам сдружившейся пары: «Што? Вдвоем-то небойсь охотнее путешествовать? Ха, ха, ха!» Третьи, преимущественно женщины, оставались где-нибудь около заведений, напевая псалмы или песни и тем значительно увеличивая общую суматоху населения.

К таким женщинам, что называется, подмазывались и плотники, забежавшие в кабаки хватить перед началом работы, и какие-то гулевые, неопределяемые молодцы с толстыми мордами, сплошь исписанными синими и багровыми рубцами, и с носами, заклеенными смолой и газетной бумагой. Подходя к такого рода женщине, в каком-то бессмысленном восторге оравшей бессмысленную песню, молодцы трепали ее по спине и любезно подмаргивали подбитыми глазами на ближний лесок, вследствие чего бабенка, в свою оче-

редь, колотила парня по чем ни попало и визгливо спрашивала:

– Ды, ч-че-ерт! От тебя-то будет ли что? Угошненья бы, што ли, какого?.. Ну, гостинцу-то этого?..

– Будь спокойная! – лаконически отрезывал парень, после чего кабачная дверь, распахнутая порывистым толчком, снова скрипела, и из внутренности, маскируемой ею, словно бы октава, заканчивающая этот сумасбродный хор, рычал сердитый и могуче дребезжавший голос:

– Не мм-мож-жешь тише, дьяв-волл! В шею буду гонять за такие дела вашего бр-рата!..

Прошедшись раза два по той и другой стороне карауловской улицы, я заметил, что ворота в каждом доме были растворены настежь, почему они и имели физиономии тех бесшабашных людей, которые всякому встречному говорят: «Ну, подходи, подходи! Около меня, брат, пообедать тебе трудно будет». Крошечные дворики, совершенно видные в ворота, были сплошь загромождены маленькими, но многочисленными пристройками, из которых одни чуть-чуть выгля-

дывали из земли своими слепыми оконцами, а другие, как самые старенькие старички, хилившиеся и скособоченные, уныло всматривались в землю, говоря как будто, что вот здесь только найдем мы покой от того дурацкого шума и гама, который постоянно раздавался и над нами и внутри нас с самой матушки Екатерины Великой...

Балагуря с проходившими туземными женщинами, я спрашивал у них, указывая на какое-нибудь жилище:

– Каких таких господ, сударыня, эта самая усадьба будет?

Спрошенная сударыня, в свою очередь, с иронической учтивостью переспрашивала меня:

– Где же это вы, сударь, усадьбу здесь увидели? Просто, как бы вам сказать – не соvrать, Яшка у нас здесь живет – и хучь он нам и сосед, но только, греха таить нечего, он вор!.. У его еще у дедушки, у покойника, были три падчерицы, так он им выстроил по флигрю на своем дворе, ну а как Яшка теперича именем сам пятерых дочерей, так всех падчериц дедушкиных судом от себя со двора вы-

гнал и на место того поселил своих зятьев. Один-то зять евойный – трубочист из Кронштату. Чухна-чухна, а куда воровать здоров! Другой типерича фидьегарь, – из дворца он похерен, пытаму в позапрошлом году украл он оттуда четыре стула железных... Чижолыи стулья! Как только черт ухитрил его дотащить их!.. Третий-то, выходит, кондуктор отставной с железной дороги. У его обе ноги сломаны, так он все больше побирается в Питере. Нагромыхал, сказывают, кошель-то страсть как туго!.. Да их, чертей, до завтрава всех-то не перечтешь. Только воруют все, – не роди мать на свет, воруют как, идолы!..

– Что же мир-то смотрит на них?

– Мир? – усмехнулась сударыня. – Какой тут у нас мир? У нас все сброд тут живет из разных губернь. Всякому до себя... А опять, ежели бы этого Яшку миром к чему-нибудь присудили, он сичас к становому. Там ему дочери всякую заступу дадут. Онамедни уж становиха-то сюда к нам в Карауловку сама приезжала на паре, в коляске. На козлах у ей лакей стоял, весь в серебряных галунах, так она, приехадчи-то, рекой разливалась – спрашива-

ла: «Где, говорит, Яшкины дочери? Я их истирзаю, пытаму они у меня мужа заполонили совсем...» Мало смеху-то было тут!.. А то тоже теперича, – продолжала моя словоохотливая знакомка, – заместо станowych-то (знаешь небойсь?) мировые судьи пришедчи, так соседство-то, понадеявшись на новинку, пошло к судье на Яшку жаловаться, штобы, то есть, искоренить его – гадину. Однако Яшка и тут не сробел. Видишь вон море-то. И там он – этот Яшка – за пять верст видит и знает каждый гвоздь на барке. Сейчас – цоп его – гвоздь-от – и конец!.. Мы его страсть как боимся! Вор-человек – одно слово!

– Ну а это чей дворец будет? – спрашивал я у разговорчивой туземки, указывая на только что отстроенный домик, со всех сторон облепленный флигелями, которые были задавлены мезонинами, балконами, вышками и т. д.

Прежде нежели ответить на мой вопрос, бабочка со вздохом сказала мне:

– Ах, барин хороший, позвала бы я тебя к себе кофейку попить, да муж у меня ревнив очень. Он тверезый когда живет, так ничего.

Смирнее его на пятьдесят верст вокруг не найдешь. Только вот ребята наши проклятые всё смущают его у меня. Хотят они, черти, чтобы я с ними гуляла, но как я на такой грех согласиться не могу, они затащут его в кабак, напоют его там, наговорят ему про меня всякой всячины, – вот он в таком-то виде ляжет перед окнами и во все-то, милый барин, хайло пьяное и перед всем-то народом по целым суткам меня и костерычит. Вот и теперь вся душа дрожит, потому цельной компанией парни собрались и увели мужа к Ваське Жуку в кабак. Там они теперь над ним всячески потешаются. А дом, про какой ты заговорил, наш. Его за мной тятенька-покойник (дай бог ему царство небесное!) в приданое отпускал. Как же? За мной, милый барин, в приданое-то шло, кроме дома, одних ложек серебряных четыре штуки, одиннадцать подушек пуховых, три перины... И! Да што и говорить про старое! Все пропил...

Бабочка сделала в этом месте своего рассказа безнадежный жест заскорузлую рукой и отерла слезу с лица, которое начинало уже складываться в морщины, обыкновенно пред-

шествовавшие плачу.

– Вот и дом-то этот, – продолжала она свою речь, – тоже у нас с мужем мещанин один оттягал. Видишь, как дело было: есть тут у нас девица одна, и так надо тебе прямо сказать, пошла она по вольному обращению вот эдаконькой...

Рассказчица при этих словах отмерила от земли такое незначительное расстояние, которое повергло в глубокий ужас всю мою душу, услышавшую в первый раз, что люди даже и такой незначительной мерки могут ходить по вольному обращению.

– Но только, милый барин, такой красоты, какую в себе эта девица имеет, произойди, кажись, целый свет, так и то не найдешь. Вот, может, увидишь, ежели она к обедне пойдет. Вся бархатная... Только долго жила она своими делами так, что ни богу свеча, ни черту кочерга. Отлучится это в город на какую-нибудь неделю – и, боже ты мой милостивый, чего-чего только она оттуда не натащит: и денег-то, и платья-то всякого, и вещей. Приедет сюда – пропивать все это начнет, родным дарить. Потом опять в город... Повадились к ней

сюда из городу господа ездить, – дым коромыслом по всему околотку от ей заходил. Мужики-то наши, так и то от ей перебесились все, потому кто хочет подходи, – всякому угощенье. Ну, они – мужики-то наши – злы на такие дела. Принялась тут она своих любовников грабить, и чем больше разграбливала, все у ней сердце-то на корысть пуще тово разгоралось. Богатому скажет: купи, говорит, мне дачу. Так-то! Без этого на порог не пустит. Тут-то вот к нам мещанин этот, какой у нас дом оттягал, и пришел. Ну, пришедчи, говорит: я, говорит, братцы, пришел к вам кабаки снимать, – и вскорости, не знаячи здешних местов, с мужиками нашими совсем захороводился. Те, известно, рады поджечь пришлого человека на выпивку. Вот он хороводился, хороводился с ними и каким-то манером и увидал эту самую Линпиаду. Кричит: жив быть не хочу, чтобы эта самая девка меня не полюбила. Сейчас он, сударь ты мой, с одним парнем предпосылает ей полштоф сладкой водки и десяток апельсинов, – все честь честью; но она полштоф этот расколотила парню об голову. Мещанин к ей на лицо. Гово-

рит: три синих; но она его вместо того поленом по спине. Мещанин говорит: в законный брак; но Линпияда вместе с кухаркой (тетка родная, матери ее, выходит, родная сестра, живет у ей в кухарках-то), схватимши палки, очень того мещанина избили. Насилу мужики отняли...

– И тут, однако, мещанин не унялся. Опять пошел на лицо и говорит: «Чем же, говорит, Линпияда Степановна, я вам могу услужить, штобы, то есть, к примеру, добыть вас?» Она ему отвечает: «Купи дом, говорит, дурак!» (Обрывчивая девка, даром что мужичка! Случалось мне слышать, как она теперича очень даже именитых господ дураками ругала. Ничего – только посмеиваются, – право, ей-богу!)

– Протранжиримши наперед того все деньжонки, призадумался мещанин, где бы это домом ему для Алинпийдки раздобыться – и под конец того напал своим умом на моего Митрия (Митрием зовут моего мужа). Принялся он его угощать всячески: угощает неделю, угощает другую и, споймши-то, сейчас его в волюсть. Там, при всех при начальниках, контрахт такой прописали, што, дескать, посту-

пает Митриев дом ко мне, к мещанину, в аренду на двадцать пять годов...

– Как и што там у них было, мне, по моему бабьему делу, неизвестно: но только что, милый барин, вот уже четвертый год живет Алинпиядка в нашем доме; а мещанин взыскивает с нас четыреста серебра, потому што быдто мы, то есть, с мужем не соблюдаем контракту. Теперича судьи пуще всего мучут нас бедностью – всё в сроки пустили. К первому, говорят, сроку приготовь ты, разговаривают, женщина, сорок серебром. Ну, я намедни по эфтому случаю продала корову и беличий салоп – и заплатила мещанинишке-то. Принял – и засмеялся. «Подожди, говорит, Федосья! Я тебя с мужем-то еще не так оборудую. Еще ты, рассказывает, новых штук-то в понятие к себе не взяла... Я, говорит, тут весь ваш край заполню с моими способностями...»

– Мы тут, голубчик барин, – продолжала бабочка в глубоком унынии, – все от эфтого мещанина в большое унынье пришли, потому видим все, што востер у него, у собаки, ноть. Кажись, уж на что у нас народ шельма, а и то все очень его испужались... И из коих

только он местов народился, антихрист эдакой?.. Онамедни с нашего мужика одного за бесчестье пять серебра слупил. Тот его мещанишкой обозвал. Ну, он к мужику сичас по этому случаю грудью пристал. «Я, говорит, рази мещанин? А? Я, говорит, гражданин города Риги. Ты знаешь, толкует, чем это, по новому положению, пахнет?» Мужик испугался – заплатил...

Во все время этого разговора мы сидели на лавочке, прилаженной к воротам какого-то дома, и мой уединенный разговор с женщиной, обладавшей ревнивым мужем, тянулся до сих пор никем и ничем не прерываемый. Но как только заметили нас с других приворотных и прикабачных лавочек, как только мы обратили на себя внимание различных окошек, украшенных гардинами в виде ребячьих пеленок, – к нам потихоньку и полегоньку, с засунутыми в карманы руками, стали подходить многие праздные люди, которые с какою-то странною и совершенно неожиданною мною снисходительностью принялись увещевать меня согласным хором в том роде, что: «это, барин, точно што, муж

у ей плох! Мы здесь старожилы... Мы и свадьбу-то ее помним. Гуляли у ей на свадьбе-то, – как же! Точно, што Митька у ей все приданое пропил. Ну и дом тоже. Она, конечно, баба теперь убитая, но еж-жали ей т-таперича из город-ду жених-ха бы какого-нибудь... Эта-то, эта-то баба не выручит? Гляди: со всех сторон – барыня... Не б-бойс-сь, – ни падг-гадить... Хушь ккам-му!»

Нашедшие люди сопровождали свою рекомендацию заинтересовавшей меня женщины быстрыми и манерными поворачиваниями ее на все стороны. Никогда не видавши такого зрелища, но, однако, хотя и смутно, поняв его настоящее значение и конечную цель, я, как говорится, устремился в моем путешествии далее, негодуя и злобствуя на что-то такое, что, как каменная мишень отбрасывает назад пулю, отбрасывало на меня самого мое собственное негодование на кого-то и на что-то...

Пошел я – и за мной вслед покатались страшные, ничем не отразимые, потому что более или менее правдивые, хи-хи и ха-ха толпы, которая чем безнравственнее, по-ви-

димому, смеется, тем глубже поражает сердце человека, который, к личному несчастью, во что бы то ни стало желает оправдать этот смех и, жалея людскую пошлость, старается втиснуть его в какие-нибудь оправдываемые рамки.

– Хо! хо! Эй, чер-рт! Куда попер-то, голопузый шут? На даровщину, видно, по-питерски захотел... Не-е-т! У нас эфтова нивозможно.

Крикливее всего этого, так сказать, дьявольства раздавался голос словоохотливой бабенки, которая во все горло орала:

– Теперича эфто что будет такое? Говорил-говорил с женщиной и заместо того наутек... Нет, постой, голоштанник! Подождешь!.. Мы себя в обман не дадим... Мы тоже пить-есть хотим...

Такие и подобные возгласы наконец обратили на меня внимание всей Карауловки, вследствие чего я был моментально окружен, по крайней мере, сотнею разнообразных личностей и мужского и женского пола, которые зывали ко мне:

– Да вы, барин хороший, плюньте на эфту шкуру. Рази у нас таких-то не найдется? Сл-

лава богу!.. Чего другого-то, а эфтого-то добра, кажетца што... Нивпроворот...

Так кричали молодые бабы и девки; а мужчины приставали примерно вот как:

– Милостивый государь! Мусье! Вам теперича што требуетца?..

– Вашему высокоблагородию мизонинчик-с? Слушаю-с, пожалуйста! У нас спокойно! У нас ежели теперича блоха до хорошего господина коснется, мы в полном ответе-с...

– Не ходите, не ходите, судырь, к ему, – взывали бабы и девки, – у них в прошлом году барин с барыней до смерти опились, – лекаря из Питенбурху потрошить приезжали. Опять же у них дом на самом сыр-ром месте стоит, провалится, не увидите как.

– Стервы! – отгонял женское ополчение парень, назвавший меня и вашим высокоблагородием и мусье.

– Обратите внимание, ваше высокоблагородие, – рекомендовался этот парень, по-гостинодворски жестикулируя руками. – Теперича я – и эти шкуры. Я вам всякое удовольствие могу предоставить из-за самого пустого подарка; но только што эфти, можно сказать,

подлые твари могут для вас сочинить?..

Я склонился на сторону парня, принимая во внимание некоторые особенно преследуемые мною цели, и уже хотел было идти за ним, как вдруг, с непостижимой силой и быстротой растолкав скопившуюся около меня толпу, подле меня очутился громадного роста субъект с огромной черной бородою, в пестрядинной рубахе и синих шароварах. Стал он около меня, взял меня за руку, пристально посмотрел мне в глаза, причем укоризненно помахал нечесаной головой и страшным басищем сказал:

– Листара миновать? Хыр-рошо! Пойдем! У меня мизонин слободен. Нечего тут торговаться. За кем нашего не пропадало. Иди, я тебя успокою...

Затем гигант обратился к наскочившей на меня словоохотливой бабенке, которая ожесточенно наступала на меня с требованием: «Ну хошь што-то нибудь? Хошь безделицу-то какую ни на есть. У меня дочь растет, муж пьяница. Мое дело почитай што сиротское!» – грозно пристукнул он на нее своими большими сапогами и вскрикнул:

– Гляди, гляди, баба! Я тебе шлык-то поправлю! Пойдем, милый человек! У меня, брат, с балконом, – прям на море. Без фальши!

– Так что же? Самовар? – спрашивал меня дядя Листар уже после того, как осчастливил меня вводом во владение своим мезонином, с балкона которого действительно открывался хороший вид на море.

Спрашивая таким образом, он сидел на стуле и свирепо смотрел на меня всем своим волосатым лицом.

– Да, самовар теперь хорошо бы, – ответил я как можно мягче, стараясь как-нибудь разоружить эту ничем не вызванную мною свирепость. – Как вас по имени-отчеству величают? Самоварчик теперь, конечно, приятно было бы распить. Велите-ка наставить.

– Вел-лич-чают? – передразнил меня дядя Листар. – Эх-х вы, гыспада! – рычал он на меня. – Придумают ведь. Давай уж деньги-то поскорее, пытаму яишницу надо стряпать теперь, водки купить... На все время требуетца...

Хозяину обо всем забота... Водку-то какую пьешь? Я пымаранцавую.

– Матрешка! – вскрикнул вслед за этим мой импровизированный хозяин. – Иди к ба-
рину.

Послушная этому зову, Матрешка живо вбежала в мезонин, еще живее выслушала мою инструкцию относительно того, как и на что именно употребить эти деньги, и, ответив на каждую статью моих распоряжений покорным «сл-ш-сь», убежала.

Дядя Листар, покачиваясь на стуле, с каким-то грозным отчаянием говорил мне:

– Деньги вперед за месяц. Нашего за кем не пропадало! Эх-х! знает гррудь да падаплека! нонишнева числа с тебе могоарычи, завтра с нас; но деньги мне подай за месяц. Сичас тебе велю простыню принесть и чистые подушки. С тебя, по дружбе, возьму в месяц-то, што бы ни мне, ни тебе обидно не было, восемь серебром. Я, брат, прост: а попался бы ты вон к тем шкурам, которые на улице тебя зазывали, – шабаш! Узнал бы ты кузькину мать. Моли бога, что у меня мезонинчик, на твое счастье, вышел слободен.

– Ну, выпьем же! – продолжал он, отбирая от Матрешки полуштоф с померанцевой. –

Ныне ты меня угощаешь, завтра – я тебя. Самовар завтра захочешь, стучи в пол. Матрешка приставит...

Долго еще после такого разговора дядя Листар отравлял мое удовольствие – сидеть на балконе его мезонина и смотреть на бескрайнее море тихим вечерним временем. Все он раскачивался на стуле, пил чай и водку стакан за стаканом и временами рычал:

– Э-эх-х! О-ох-хо! Городские! Посылай-ка еще за по-луштифилем, дьявол ее заberi! Эй, Матрешка, к барину! Ну, целуй ручку у барина, шельма. Барин тебе, дуре, двугривенный жертвует.

Матрешка крепко стискивала мою руку и вампиром впивалась в нее губами, как бы высасывая из нее тот двугривенный, которого я и во сне не видел давать ей. Другая моя рука, повинувшись давлению, против воли вытаскивала из кармана требуемую монету. Матрешка проворно схватывала ее, а дядя Листар кричал своим пугающим басом:

– Э-эх-хма! Чижало, братцы, на свете жить! О-охх, как чижало! Поднеси-ка ты мне, старику. Позабавь! Ты меня помоложе...

Наконец, уже за полночь, он как-то особенно порывисто вскочил с своего сиденья и буркнул:

– Н-ну, просим прощенья! Утро вечера мудренее. За компанию!.. Балдарим пыкорно!.. Адью-с!

Оригинальнее всего до сих пор виденного и слышанного мною была комната, во владение которой ввела меня снисходительность дяди Листара. Расхваливая мне во время выпивки ее многочисленные достоинства, он стучал в ее утлые дощатые стены могучим кулачищем, – отчего стены боязливо тряслись, издавая какой-то болезненный стон, – и орал:

– Эф-фта не комната?.. Да хошь кам-му! Енералы останавливаются, – в звездах... Э-эх-х вы, стрекулисты! Такой комнатой брезговать? Да я тебя! О-о-хо-хо! Отец строил покойник. Типерича штобы дождь, – а избави меня б-боже! Я ль не усл-лужу!..

Похвалы дяди Листара своему дворцу оказались в высшей степени справедливыми.

Оставшись один, я был поражен странной пестротой обоев, покрывавших стены моего жилища. Я поднес свечку к фантастически плясавшим в моих глазах гиероглифам, которыми испещрены были обои, и, к моему несказанному восторгу, увидел, что гиероглифы эти есть не что иное, как бесконечно инте-

ресная история комнаты, написанная руками ее многочисленных жильцов.

Всю остальную ночь и начало прелестного деревенского утра заняло у меня чтение любопытной истории.

Прежде всего по обоям, украшавшим божницу, и по деревянным дощечкам, из которых была построена самая божница, шли фамильные предания самого дяди Листара – и на первом плане фигурировал старинный, так сказать, гвоздеобразный почерк, под титлами, которым в разных местах было изображено следующее:

«Привезен из своих мистов в чужую губерню в хрисьяне в штатные, в монастырь. Так надо полагать, што от родины отчужден навек. Терплю и молюсь богу. Смоленский хрисьянин Петр Гусев. 1828 г. апреля 15. Был у всеношной, – горько плакал, потому вспоминал родных своих гжацких».

«Все строю дом, – дальше говорили гвоздеобразные буквы, – привык чай пить, к кофею такожде великое пристрастие возымел. Какая пропасть кабаков по здешним мистам; но только туда ни ногой, потому собираюсь же-

нитца. Невеста из здешних, – одевается все равно как, к примеру, барыни в Питере. Лекше, то есть, насчет штобы добычи, нашего места, кажись, во всем свете нет. Получаю от господ за свои услуги много подарков. Невеста меня любит, только говорит, штобы я с ей после свадьбы взысков никаких бы делать не смел. – Эфто для меня очень сумнительно... Но я надеюсь на милость божию, – все строю дом и креплюсь, потому всякий может изобидеть меня здесь – захожего человека – на чужой стороне, в случае ежели бы я, к примеру, заговорил с соседями как-нибудь не по-хорошему».

Чем дальше разъяснялась для меня история жилища, в которое я занесен был случаем, тем почерк христьянина Смоленской губернии Петра Гусева делался все вальяжнее, – росчерки и завитушки под фамилией историографа приобретали большую причудливость. Рассказав лаконическими изречениями о месяце и дне своей женитьбы и коснувшись словом – «хоть бы кому так господь привел в закон прийти» – того великолепия, с которым была отправлена свадьба, Петр Гусев,

очевидно, сделался достойным и солидным представителем приютившей его стороны.

«Получил по почте, – пишет он, – письмо из Гжацка от сестры – Алены, штобы я прислал ей три серебра, потому, то есть, што у ей пала корова; но я, как имеючи свое собственное семейство, денег тех ей не послал. Грешник! Уповаю на бога. Молюсь – и креплюсь, потому мне такие дела, какие около себя на своем новом жильье каждый день вижу, в непривычку... Большие искушения переносу...»

«Родилась дочь – Аграфена в 1832 году. С женой имел ссору, што она часто в город ездит с чухонцами, рассказываючи, што они по случаю возят ее туда будто бы очень задешево... Бил ее за такие дела, но она медни пришодчи какой-то офицер с азарством стал спрашивать у меня про жену: где, говорит, моя прачка? Я опять ее за эфто прибил, а жена вскорости дала мне триста рублей на асигнации, на которые мы перекрыли избыную крышу почитай заново. Крышу вымазали красной краской на посконном масле. Вышла крепка!..»

«Родился сын Агафон тово же году. Дохтур над женой очень смеялся, что часто родит; только все же подарил ей рупь серебра, потому она на него рубахи стирала».

«Родился сын – Алистар».

«Двоюродная женнина сестра – Палагея – утопла ночным временем в пруде вместе с племянницей, а моей малолетней дочерью – Аграфеной. Дело было в преображеньев день: наехало из Питеру много господ – и штацких и военных – и сказывают будто, што это любовник ее утопил в пьяном образе. Вряд ли! Я за ней этого не примечал, а впрочем, и то сказать: богу одному известно... Жену прибил за то, што за сестрой своей не глядела, а за детище свое молился перед всевышним с горькими слезами. Было эфто в 1848 году, августа шестова... хрисьянин Петр Гусев».

«Всё несчастья! Сын – Агафон – опился в Петербурге и умер. Похотел он женитца на женщине из скверного дома... А какой было вышел сапожник! Долго я по этому случаю молился, плакал и скорбел всячески; потом напал на меня запой – и пил я в том запое без просыпу четырнадцать недель... С женой по

таким временам сладить не мог... Она меня била... Какие в то время в моем доме состояли при ей господа офицеры – из гвардионцев, – грохотали надо мной над пьяным и говорили жене со смехом:

– Ну-ка, Фетинья, колыхни его! Што ты на ево глядишь-то?..

Не могу глядеть на здешние порядки... Не по мне они...

Ах, побывал бы теперь на родной стороне! Все-то там не так, как здесь. Жена у меня от рук отбилась, – дети все изъерничались и переколели, как собаки... Листар один утешает, поступивши в кучера к отцу благочинному, ко вдовцу; но заместо того и Листар шипко пить зачал... Хочу женить, дабы, то есть, штобы остепенить его...»

«Болит бок, и ноги можжат, – на взморье простудился, когда дрова вывозил. Долго мне теперича не прожить. Стар стал... Бог даровал нам победу при Синопе[3] над Французом. Разбили у него, – в лавке газету читали, так поняли, – одних кораблей десять тысяч. Войска у его сгибло в эфтом страженье семь миллионов одной пехоты... Слава тебе, боже наш,

слава тебе! Перед Кронштатом, сказывали Чухны, хошь и ходят „евоинные“ корабли[4], но только „им“ эфтой крепости не изнять. Хочу в субботу молебен служить Всех скорбящих радостей, – может, и отойдет от боку-то... Христьянин Петр Гусев. 1854 году сентября 24. Погода бедовая! Ветер с моря, – всю ночь спать не давал... Ребятишки бредят, – чую, что помру». В последний раз расписался таким образом христьянин Петр Гусев... Дальше пошли уже другие надписи.

– Ты, барин, што тут такое разглядываешь? Это мой отец написал. Ах, письменный был старичок! Не то што я, дубина этакая – неотес! Только бы вино жрать.

Голос, оторвавший меня от моего ночного занятия – рассматривать это дедовское собрание старинных мыслей и старинных страданий, – принадлежал дяде Листару, который, как и вчера, стоял передо мной в пестрядинной рубахе и в синих нанковых штанах. Под левой мышкой он, горемычно улыбаясь, придерживал полуштоф. Почтительно кланяясь и шаркая какими-то сапожными обрезками, надетыми на его босые ноги, он конфузливо

говорил мне:

– Я тебе сказал вчера: нонишнева числа ты меня угощаешь, завтра я тебя. Вер-рно! Вот он – полуштоф-то! Мы своему слову господа. Нас, может, енералы обманывали... Выпьем!

В это время было тихое, четырехчасовое утро. Солнце еще не всходило. С балкона мне видно было кладбище, густые и высокие деревья которого были окурены сизыми туманами, и взморье, по которому тянулись ленивые барки и крикливо летели звонко визжавшие пароходы. Под рукой, или, лучше сказать, пред глазами, тянулась всегда волнующая меня история многоразличных хрисьян Петров Гусевых.

Все эти сокровища я мгновенно растерял, испуганный басом дяди Листара, хотя значительно смягченным против вчерашнего, хотя уже и не тянувшим так пугающе свои свирепые: «о-ох-хохо! э-х-х вы, гыр-рыд-т-цкие!» – но все-таки слишком неудобным в моем уединении, так что я, в видах охранения моего покоя, счел за нужное раз навсегда прекратить это горлодерство. По этому случаю я сердито прикрикнул на хозяина:

– Што шатаешься без толку? Самовар еще рано. Позову, когда нужно будет.

– Пы-ыз-зываете? – взревел дядя Листар, мгновенно впадая в свою вчерашнюю роль горластого людоеда, каравшего все городское самым подавляющим презрением. – За-ч-чем я пришел? Прикр-расно! Ну, бра-ец, я пришел к тебе за деньгами, потому следует с тебя получить за месяц вперед.

– Да я тебе деньги вчера отдал...

– А свидетели есть? Имеешь ли ты законную расписку? Мы тоже понимаем, пуцай неученые... ха, ха, ха!

Я почти что ополоумел от такого рода развязки романа. Дядя Листар долго смотрел на меня, освещая всю комнату нахальной и презрительной улыбкой. Наконец, заметивши на моем лице некоторые нехорошие подергивания, с которыми я обыкновенно смотрю на людскую подлость, он ласково потрепал меня по плечу и сказал, снисходительно и добродушно улыбаясь:

– Ну, ну, не пужайся! Ха, ха, ха! Это я тебя пострацать захотел, потому все же я хозяин в своем дому... А ты говоришь: зачем пришел?

Хозяин-то? А-х-ха, ха, ха! Деньги от тебя точно што приняты сполна. Будь спокоен, – мне, брат, как перед богом: чужого не нужно... Н-не-ет! Не таковские! А ты живи со мной в дружбе – и я с тобой буду за это самое в дружбе жить. Ну-ка, хватим по махонькой да чайку потом маханем. Оно натош-шак-то куды хорошо, бра-ец ты мой! О-ох-х, люблю на-тошшак махенькую раздавить!..

Говорил это Листар и в то же время одними ногтями мастерски откупоривал полуштоф. Все тело его дрожало во время этого действия, губы чмокали, а по водянистому за-кожью лица переливались какие-то быстрые тени, отчего вся фигура хозяина приняла зверски-нетерпеливое выражение.

– А эфто, – разговаривал он, вытирая стакан, – што отец написал, читай ни в зачет. Ах, грамотник был, по рассказам! Это, брат, был не такой, какие ежели нонишные старики живут. Он тут всю свою жисть прописал. Ко мне многие господа, наехадчи, читают эти самые дела и очень смеются, а иные дарят; но тебе ни в засчет приставляю, потому я прост. У меня за одной полоумной полковницей из

немок сто тридцать на серебро пропало, – так я и то с ней взыску не делал. Махнул только рукой и думаю: н-ну, мол, господь с тобой!.. Разживайся на мои деньги... Ходила эта самая полковница по слободе-то лет пять, все стращала меня: я, говорит, Листашка, за твое сомной разбойство чину лишусь, а дом у тебя продам и тебя возьму к себе в крепостные... Видишь, какого зла пожелала; но я все стерпел, как она меня ни стращала... Ладно, думаю. Вот у нас народ-то какой! У нас тут первое дело одиннадцатая заповедь – не зевай! Ха, ха, ха!

В это время отворилась дверь, и в комнату вошла новая личность в виде мозглявенького старичишки в рваном полушубке, босого, но державшего себя с необыкновенным достоинством. Не снимая своей истасканной татарской шляпенки и не выпуская из рук бумажного крючка с махоркой, он вместо поклона развязно тряхнул головой, пожал нам с хозяином руки и заговорил сиплым и картавым тенорком:

– Ага! так вот вы где пируете-то? А я это вышел на улицу: смотрел, смотрел, куда это,

мол, наш Листар задевался? Спасибо уж девчонка Пафнутыихина объяснила: они, говорит, дяденька, с жильцом в мезонинчике пьянствуют. Я сичас и подумал: дай, мол, и я пойду к ним для шутки. Все, мол, оно веселее вместе-то. Ну-ко, дядя Листар, влей мне стакашек. Я еще, признаться, нонишнего числа ни тово... не успел раздрешить. Только, значит, встамши-то, с супругой кофейку попили, да, выходит дело, вчера у меня знакомые господа были (что же не приходил, Листар? Чудесное, братец, угощенье было от тех господ для всей семьи), так от них пирога сдобного этакой кончище остался, – ну, мы, к примеру, и перехватили безделицу.

– Ну-с, доброго здоровья! – произнес затем новопришедший человек, держа в руке налитый ему дядей Листа-ром стакан. Потом он обратился лично ко мне:

– Што это, милостивый государь, какое у вас лицо приятное, право! Самое господское лицо! И так надо полагать, что я вас видел где-нибудь? Только вот, дай бог память, не вспомню никак, в каких местах я видел вас? А не иначе, должно думать, что в хороших ме-

стах, в господских... Да, может быть, не знакомы ли вы с господином майором Белоконовым? Они мои благодетели. Бываем у них часто, когда ежели в Питере случаемся по своим делам. Завсегда приглашают – и чаем потчуют из своих собственных рук... Известное дело, что любят они нас за наши услуги. Нас так-то, слава богу, многие господа знают.

И то ли в благодарность за то, что знают их многие господа, то ли благословляя раннюю и даровую выпивку, старичок перекрестился и, наподобие самого удалого молодца, опрокинул в горло стакан, закусил кусочком черного хлеба с солью и, выразив при этом основательную мысль, что «закуска-то у нас не больно гожа», проворно ушел, обещая в непродолжительном времени явиться к нам с закуской более исправной.

– Вот это, брат, так старик, – уверял меня дядя Листар. – Уж можно чести приписать! Мы, друг, с Кузьмичом (его Кузьмичом зовут) с малолетства знакомы. Уж и дирались же мы с ним, когда помоложе были. Мы с ним драками-то этими такие-то куски хлеба себе доставали, – беда! Купцы приезжие или бы, к при-

меру, господа военные первым удовольствием полагали на кулачки нас с ним сравнить. После бою – известное дело: кто рублик, кто тринку, а какие позадористее – и пятерки цельные отваливали, – всяк по силе-мочи. Так-то! Ну, теперича этого нет... Не те времена... Не народ ныне стал, а так, прости господи мое согрешенье, ровно бы вот шиш поганый какой!..

Такая печальная характеристика нынешнего народа заставила глубоко задуматься дядю Листара. Он грустно уткнул лицо в свои здоровые руки и беспомощно оперся ими об стол.

– Как это ты, хозяин, выходил биться с таким плюгавым человеком? – спросил я, желая прекратить тяжелую паузу, воцарившуюся между нами. – Ведь ты его на одну ладонь посадишь, а другой раздавишь. Дымок только взовьется.

– Дымм-мок! Э-эхх ты! – воодушевило дядю Листара мое возражение. – А еще городской, еще ученый. Да Кузьмич меня почитай всегда побивал, по тому случаю, – в этом месте разговора хозяин наклонился к моему уху и

секретным шепотом продолжал: – потому, годов двадцать пять этому, надо думать, прошло, сдружился Кузьмич с каким-то странником – и выучил его тот странник слегка приколдовывать. Выучивши, врезал ему в левую руку разрыв-траву, и, может, он через эту самую травку левым кулаком железные замки разбивал, а не токма чтобы кость человеческую.

– Но тол-лько, – плутовски грозясь на меня толстым пальцем, рассказывал Листар, – только же мы и сами на счет этих делов не промахи. Тоже сами слегка обучены. И как я, к примеру, дознался (большие деньги человеку одному пропоил, а дознался), что у него в левой вся сила, принялся в боях с ним по правой его колушма-тить... Ну, значит, и кончен бал, потому одной левшой ему меня не задолеть. Правая-то у него и по сие время ровно бы кисть какая висит. Вся отсохла! Вот какие времена-то в старину были! Ни за што ни про што нашему брату деньга-то валила.

– А вот, сударь, я к вам еще старичка привел, – перебил наш разговор Кузьмич, входя к нам с каким-то судком. – Гость на гость – хозя-

ину радость, – улыбался он своими желтыми деснами, с видимым торжеством устанавливая на стол принесенный судок. В дверях между тем робко переминался еще старик, совсем седой, беззубый и дряхлый, но с тусклой улыбкой на сморщенном лице и с ребенком на руках.

Заметивши конфуз старика, Кузьмич живо бросился к нему и, подтаскивая его к столу, торопливо говорил:

– Входи, входи, Фарафонтьич! Што ты боиси? Ты, может, барина опасешься? Не опасайся, брат! Барин, я тебе прямо скажу, свой. Не фальшивец какой-нибудь, а из высоких чинов, надо полагать. Сам смотри!

Старик в самом деле принялся освещать меня своею тусклою улыбкой, а ребенок, которого он держал на руках, усиленно болтал ножонками, стараясь высвободить их из запутанного на них тряпья, смеялся хотя и бессмысленным, но тем не менее необыкновенно серебристым смехом, которым могут смеяться только дети первого возраста, и настойчиво протягивал ко мне свои руки.

– Это он у тебя гостинцу просит, – каким-то

замогильным, даже на мгновение испугавшим меня голосом заметил старик. – Он у меня смелый, – ко всем на руки просится, – барыни приучили.

Говоря это, старик улыбался еще радостнее и тусклее, а Кузьмич сейчас же посоветовал мне пожертвовать ребенку какую-нибудь малость, примерно гривенник, что ли, с лукавым смехом уверяя меня, что у них тут у всех ребята очень смелые.

– Такие прокураты – беда! Потому завсегда при господах. Он тебе и ручку поцелует, и песню сыграет, спляшет, – ей-богу! Ровно бы цаганенок какой! Ах-х! – с глубоким вздохом, доказывавшим важность родительских обязанностей, договорил Кузьмич.

– Н-нет-т, барин, как я своих к этой самой политике приучаю, – страсть! У меня сейчас каждое дитя и ручкой-то тебе сделает, и живым манером тебе во всякое место слетает, и в ножки-то поклонится, – па-атеха! Зато уж у меня держись! Как только, примером, мы в своем семействе откушаем, сейчас все ребята идут сперва, как есть как у господ, у супруги ручку целовать, потом у меня: «мерси, мама-

шенька! мерси, папашенька!» Вот каковы у нас порядки-то, – не трожь, мужики!.. Не трожь!..

Дядя Листар одобрительно слушал этот монолог и разливал в то же время водку в надтреснутый стакан, в безногую рюмку и в чайную без ручки чашку. Брови его хмурились все серьезнее и серьезнее, и наконец, когда Кузьмич кончил похвалу туземным обычаям, он, снисходительно обратившись ко мне, безапелляционно закончил:

– Да, братец! Вот они у нас, порядки-то! Сызмальства приучаем, зато нам господь и подает. Дай ребеночку-то хоть полтину серебром, – не грех будет, потому ребенок эф тот – сирота. О-ох-хо-хо!

Голос дяди Листара при этом внушении зазвучал опять вчерашними пугающими нотами, и потому я, чтобы мало-мальски утешить бурливость этих нот, поспешил поскорее приласкать ребенка и вручить в его раздвинутые граблями лапки нечто такое, что он навсегда спрятал от моих глаз в своем маленьком ротишке.

– Вот молодца! вот молодца! – дружным хо-

ром поощрила это прятанье вся компания. – Поклонись теперь дяденьке. Сделай барину ручкой! Вот так! Водочки хочешь? – спрашивает дядя Листар, повертывая перед ребенком сиявший на солнце стакан.

– Страсть как любит вино! – рекомендовал начинающую жизнь пахнувший могилою старик. – Я теперь, когда мне в кабаке поднесет кто, беспременно ему капельку оставляю. Очень смеется, мошенник, по таким временам. Должно, и ему тоже ударяет в голову-то! А?

– А ты думал как, – смеялся Кузьмич. – Известно, ударяет, да еще у них, у младенцев-то, мозги-то послабее нашего. Мы с тобой, как теперича привыкши к этому греху, да и то, примером, слабеешь; а они-то ведь, сам рассуди, младенцы-то, они ведь безгрешные. Вроде как бы андила...

Выпивка между тем и сопровождавшие ее рассказы с каждым стаканом делались все интереснее. Прежде всего Кузьмич принялся клятвенно и, как говорится, распинаясь, уверять меня в том, что вот они, эти самые старички, каких я теперь вижу своими глазами,

суть первые хозяева во всем околотке.

– Да это што ж? – угрюмо подтвердил дядя Листар. – Известно, что первые. Кто же тут, окромя нас? Поди-ка поищи! – сердито послал он меня куда-то поискать кого-то окромя их. – Мы здесь старожилы издавна! У нас, брат, свои дома!

– Дома! Это как есть! Мы здесь самые заправские старики! – страдательно шептал Фарафонтьич, поматывая поникшей головою и еле-еле смогаясь с ребенком, который цеплялся ему и за бороду, и за седые волосы, как бы наказывая этим дедушкино вранье.

– С нами, брат, компанью ежели будешь водить, – небойсь! Не замараешься! – выхвлял Кузьмич свое общество, дружески потрепывая меня по плечу. – Не подга-адим, друг, хошь кому! Так-то!

– С нами замараешься? – уже с большой пассивой пристал ко мне дядя Листар. – Мы подгадим? Как так? Д-ды онамедни, – гремел он, вставши со стула и держа полуштоф в руке, – приехадчи к нам гос-спадин Сталбеев (двадцать восемь пудов одного серебра у него!), так и тот, увидавши меня, говорит (у

самого лица стр-ро-гое): «Листар, говорит, ты меня знаешь?» Я сейчас в ответ пуцаю ему, с смел-лостью пуцаю, потому они смелость лю-бят: «З-знаю, говорю, ваше превосходитель-ство». Они на мой ответ опять мне: «Листар! Ты меня должон знать?» Я тоже, например, с политикой к нему: «Весь век, говорю, дол-жон». Они, прослезимшись, дали мне три се-ребра и сейчас же отдали приказ: «Н-но, гово-рят, поминай моих родителей, потому ты око-ло их могилок жительствоуешь...» Вот как! А то подга-ад-дим!.. Ну-ка, посылай покуда. Вот Фарафонтьич кстати и сбегает. Фарафонтьич! Слетай-ка покамест. Да ты, – научал он своим сердитым тоном растерявшегося старика, – д-да ты, эхх, бестолочь! брось ребенка-то. Вон посади его в уголочек-то... Ему там спокойно будет. Подгадим! Куда рвешь посудину-то? Дай остатки-то хоша, по крайности, дохлеб-нуть. Эх-х! Закуска-то больно добра! – закон-чил он свое урчанье, посылая в рот огромный кусок цыпленка, действительно очень хоро-шо приготовленного, но уже достаточно утра-тившего свою первоначальную свежесть.

Кузьмич, кажется, только и ждал похвалы

пожертвованному им на пользу общую блюду, – так стремительно подхватил он реплику Листаревой рацеи.

– Да, закусочка точно што – ничего, – заговорил он с плохо скрываемым удовольствием. – Закусочка единственная! Она медни, признаться, старшая дочка из Питера привезла. Она, это, имининница была: ну, выходит дело, хозяин (майор такой вдовый хозяин у ей, и не так штобы в преклонных летах...), ну, вот он и поздравил ее: драпу, примером, подарил ей восемь аршин на бурнус (эдакий драп!), синтетюрки на платье и, окромя того, говорит: бери, говорит, с моего господского стола, што только тебе ндравится, для твоих родителей, потому, говорит, мы про твоих стариков, не в пример прочим, наслышаны... Понимаем мы, толкует, по твоему поведению, што они у тебя не какие-нибудь...

– Д-да! – угрюмо подтвердил дядя Листар, обращаясь ко мне. – Старшая дочь у него... Точно что... Девица первый сорт!..

– Да как же не первый сорт? – горячо вступился Кузьмич, как будто кто-нибудь из нас с большим азартом оспаривал его мысль. –

Весь дом ею одной держится, потому супруга старая стала, другие девчонки молодые очень, а с меня что взять? Я старик... Мне теперича нужно свои кости и-их как успокоить! Мне бы вот водчонки как-нибудь раздобыть, потому я привык к этому. Ни м-маггу! Сапоги там какие-нибудь через господ получить, подарок какой... Так ведь это мне самому нужно, на свое собственное удовольствие, потому я родитель, стар-рик! Так ли я говорю?..

– А ты думаешь, как про родителей-то? – окрысился на меня дядя Листар, словно бы усмотрел во мне личного противника всем существующим на белом свете родителям. – Нне-нетт! Подожди! Мне господин Сталбеев свою пратекцу дает. Они сами слезки роняют. Я им сказываю онамедни на ихней могилке: у меня, мол, дочка-то, ваше превосходительство, пошла по ученой части – в бабки. Всё теперь по этому случаю, что от матери покойницы какие наряды получила, когда мы ее в горничные отпускали, протранжирила, потому, говорит, все это пустое дело! А они сами изволили, при таких моих словах, горестно зарыдать, – и говорят мне: «Дур-рак! Подлец

ты эдакой! У меня у самого две по эфтой самой части ушли... Што ты, – изволили сказать, – меня беспокоишь? Понимаешь, говорит, у меня у самого... Две!..» Тут они даже в грудь себя колотить принялись. А т-то праад-дителей!.. Дай-ка сюда вино-то! – с глубокой скорбью и вместе с тем с ненавистью обратился Листар к возвратившемуся Фарафонтьичу. – Дай вино! Я разолью! Я хозяин! Р-роди-тели!..

Фарафонтьич совершенно неожиданно в один миг впал в тон этой задорной речи и, словно бы воскресши из гроба своей старческой немочи, эпилепсически потрясая головою, скороговоркой заговорил:

– Известно, родители! А то кто же? Вот дочушка-то любезная, другой год от меня ушодчи, ребенка у меня, у старика, на руках оставила. Почтенья никакого не дает, денег не возит. «Хоть бы на пропитанье-то ты мне, старику, привозила», – спрашиваешь ее так-то иной раз. А она, ровно бы путевая, ответ дает: «Где ж ему взять тебе на пропитанье-то?» А? Ха, ха, ха! – залился старик обыкновенным могильным смехом, обнажая при этом жел-

тые, трясущиеся от хохота десны. – Где взять? Да т-ты, шкура ты барабанная! – с угрозой обратился наконец Фарафонтьич к какому-то неизвестному лицу. – Да зачем же ты связалась с таким-то? Да рази нет господ-то хороших? Богатых-то господ? Рази мало их? С такой-то красотой? Ну-ка, Листаша, влей!

– Вон какая горесть родителям-то, – с задумчивой энергией урезонивал меня Кузьмич. – Где он на пропитанье любовницыну отцу возьмет? А? Ха, ха, ха!

– А м-мы им где брали? – заключительно прогремел Листар, тоже, в свою очередь, раскатившись густым и презрительным смехом над людьми, которым на пропитанье взять негде.

Этот тройной смех людей, возбужденных выпивкой, так сказать, покривил душу мою, вследствие чего она против воли пропела согласно с общим хором:

– Да, это нехорошо! Родители... Конечно... Почитать нужно...

Мое согласие, выраженное хотя и несвязно, несколько утишило бурю родительских протестов. Первый смягчился Кузьмич. С пья-

ленькими слезами на гноящихся и мигающих глазенках он взял левой рукой поднесенный ему Листаром стакан с водкой, а правой принялся благоговейно креститься, самым старательным образом уверяя меня в том, что, «слава богу, дите у него не такое, как у этих разнесчастных стариков».

– Не обидчица! Добудет что в Питере, сичас домой тащит. «Маменька, говорит, пожалуйста ручку. Тятенька, пожалуйста ручку! Вот, говорит, за ваши родительские молитвы господь мне послал». Шлафоров это навезет всяких, жилеток, – примется из них малолетним сестренкам костюмы и всякие платишки шить. Оборудует их так-то, как есть, как господских детей... А поди-ка, их всех-то обошей! Их вот супруга-то от своего первого брака четверых ко мне привела, да уж вот теперича, выходит дело, в обчем нашем с ней житьи шесть человек народилось. Куча-с!.. Начнем мы ей с супругой говорить: «Ох, Аленушка-дружок, не пора ли замуж тебе? А то кабы ты свою красоту не натрудила?..» А она опять к ручкам... «Я, говорит, из вашей родительской воли не выхожу, только мало еще моя

русая коса по белому свету трепалась...» Говорит все по романцам, – все больше норовит тебя по сердцу-то вдарить каким-нибудь стихом жалостным. Учченая!..

– Зол-лото, не девка! – крикнул дядя Фарафонтьич, давая шлепка ребенку, который, видимо, начинал мешать его удовольствию – пить и разговаривать. – Ты дедушке-то, – урезонивал он его, – как мать, грубиянить хочешь? Нет! Я с тобой-то слажу еще! Я тебя, разбойника, сейчас в солдаты!.. Упаду в ноги к начальству и скажу: так и так, мол, кормил, поил злодея, а он вместо того пить принял... Возьмите, мол, его в царскую службу...

Ополоумевший от лет и, главное, от выпитой водки, Фарафонтьич говорил это своему таракану-внуку до того сердито и серьезно, что даже свирепый дядя Листар улыбнулся, слушая эти угрозы, а Кузьмич, как натура, обладавшая несравненно большей живостью, так и покатывался, так и трескался со смеха, показывая мне в то же время на ребенка, который, схвативши деда за жидкую бороденку, в ужасе и недоумении слушал его пророчества относительно своей печальной участи.

– Вот так-то его! Вот так-то его, мошенника! – шутил Кузьмич над дедом. – Зараньше его пробери, а то ведь как в самом-то деле пить примется, с ним, пожалуй, и не совладать тебе.

– Совладеешь с ними, с озорными, ка-ак же? – продолжал старик, приведенный в память дружескими шутками. – Нет, должно быть, каковая яблонька, таково и яблочко...

– Про что ж и я говорю? – не унимался Кузьмич. – Я говорю: зараныне, мол, лупи его, мошенника, и в хвост и в гриву.

Благодаря этому обстоятельству общество настроилось самым благодушным образом. История шла за историей, и притом одна другой для меня любопытнее и назидательнее. Листар и сумасшедший Фарафонтьич дружно поддерживали главного запевалу Кузьмича, который наконец так принялся нахваливать свою дочь, что у свежего человека от этих похвал могли бы, как говорится, уши завянуть.

– Девка, я вам доложу-с, для своих делов страсть как счастливая! – докладывал он мне своим картавым тенорком. – Четырем женихам (на двадцатом-то годку-с!) успела кареты

показать... Да-с!

Собираясь рассказать историю четырех карет, Кузьмич плотоядно оскалил свои зубенки, захохотал самыми веселыми нотами и начал:

– А ведь все к нам! Все к тятеньке с маменькой за советом. Зато ей от меня, от родителя, и почет... Как теперича жених ей по Петербургу объявится, сейчас она его к нам. У меня, говорит, милостивый государь, тятенька, маменька, подите им поклонитесь; ох-х, прокурат девка! Ха, ха, ха! И так-то она ловко этих женихов в свою пользу насаживает! Ха, ха, ха!

– Онамедни-то в последний раз привезла к нам (глаза лопни, не вру!) чиновника какого-то, – все больше и больше смеялся Кузьмич, – совсем господин, в фуражке с кокардой. Приезжает, говорит: «Тятенька и маменька, благословите». Будущий супруг, благородный. Он, не снявши своего пальта, штобы, то есть, получше нам показаться, засел в уголку, облокотился на стол, закурил, по своему благородству, папиросу, смотрит. Я ему сейчас: «Как вы мой таперича сын, ваше бла-

городие, то пожалуйста для такой радости три рубля серебра на имайский ром...» Вынул – дал. Алена ему, по своему господскому образованию, такой ответ дает: «Чем вы меня обеспечите?»

– Што ж бы ты, барин, думал? – спросил у меня Кузьмич. – Што этот чиновник с нами в этот раз поделал? Сказал этот самый чиновник на Аленушкины слова: «Ах ты, свол-лочь! А ведь я думал, что ты меня всамделе любишь!» Потом, плюнувши, бросил свою папиросу и уходить стал. Палку в руке держит, потому сени у меня темные!.. Сам шумит: «Вы меня, подлецы, обмануть пожелали...» Нно, аа-х, бой-девка Аленушка у меня, – продолжал хвалить беззубый отец свою молодую дочку, глубокомысленно покачивая головою, восхищенною талантами родимого детища. – Принялась она в эфто время около того чиновника кружить и вопить. Вцепилась ему в воротник и вопит: «Гос-спода християне! Смотрите, как этот злодей надо мною, девицею, надругался! То обещался жениться, но теперича, наместо того, прочь идет. Засвидетельствуйте! Тятенька милый! Братцы родные, заступи-

тес за невинную!..»

– Бросился я это на чиновника и ухватил его за ворот, но он меня палкой в плечо, иначе, не поддавшись ему, хватил я его по виску... Стар-стар, а хватил... Он – кричать... Душут, говорит... Подскочил тут, зачуявши хорошие деньги, извозчик Коленкин, – по соседству живет, подлец; а все же подхватил молодца и увез.

– Мы после того, – рекомендовал мне Кузьмич, – с дядей Листаром Коленкина этого страсть как в кабаке колотили. То дядя Листар колыхнет его, то я колыхну; а он нам в ответ: «Суседи милые, простите!» Мы его колотим и говорим: «Подлец! Вперед этого не делай! У тебя свои дочери подрастают...»

– Потеха была! – улыбаясь, заключил Кузьмич первую историю. – Но все же я с барина, окромя того как Аленушке он, в своем прежнем с нею знакомстве, делал большие подарки, стащил три целкача... А после мы подавали на него к мировому, так мировой тоже присудил его, за евойный против невинной девицы соблазн, к штрафу, в дочернину, выходит, пользу. Она нам еще в те поры на этот

самый штраф коровку такую пожертвовала – комогорскую. Славная такая коровка, – комоленька немножко, но к молочку, Христос с ей, очень-очень пригодна!..

– Мы, бывало, признаться, засядем всей семьей молоко от этой коровы хлебать, так без смеха вспомнить про жениха не можем. Господское, мол, молоко-то! Подоили! Ха, ха, ха!

Другие истории, рассказанные Кузьмичом, были еще занимательнее. Одна за другой, наподобие знаменитых рассказов «Тысячи одной ночи», шли они, с каждой минутой увеличивая и интерес своих тем, и веселость рассказчика. Родительское чувство, распаленное представлением высоких доблестей Аленушки, живо отражалось на преображенном лице старика. Радостно светились его маленькие глазки в то время, когда усиленно двигавшийся язык коверкал на разные манеры его впалые щеки, по которым, слетевши с бледно-розовых губ, порхали улыбки, отлично расцвеченные блестящими повествованиями про несказанные достоинства героини. В отцовском воображении героиня, эта, увенчанная радугами, стояла на каком-то высоком и

незыблемом пьедестале, а у ног ее, ослепленные лучами ее беспримерного ума, лежали в самых карикатурных позах те бесчисленные и разнохарактерные личности, которые будто бы сгибли от столкновения с нею. В числе этих поверженных во прах личностей странно сталкивались и те, по выражению Кузьмича, голоштанники с дурацкой фанаберией, которым следовало за претензии на обожание царь-девицы Аленушки порядком накласть по шеям, и те миллионщики-купцы и знатные господа, права и достоинства которых, по мнению опытного человека, были такого великого и святого сорта, что Аленушка непременно должна была приласкать как можно лучше таких людей.

– Потому такие люди нашему брату, маленькому человеку, могут завсегда что-нибудь хорошее сделать. С ними, брат, ссориться нам не годится, – резонно поучал старик кого-то, не существовавшего в нашем обществе, важно вздергивая при этом поучении на самый верх лба свои облезлые брови.

Снабжены были также эти истории целыми рядами ухаживателей-красавцев, реко-

мендованных, впрочем, Кузьмичем за самый пустой и ненадежный народ, который «истинно что только одному глупому бабью может глаза отводить. А от него, от народа-то этого, бабам, кроме немочей, ничего не выходит, потому он, по морде по своей, норовит обойтись с женским полом на шаромыжку».

Тут следовало привести одно воспоминания из прошлой жизни героини, доказывавшее непреложность высказанного правила.

– Приятность в лице! – разговаривают бабы, – восклицал Кузьмич. – А что она такая эта приятность? Зм-мей! Только одно искушение! В первый раз, как Аленушка в Питере жить стала, уж на что умней девки, а и то один такой-то прельстил... Приезжает к нам, отошодши от места, лица нет. Мы с супругой: ах, ах! Но она на другой же день в постелю слегла. Видим: горячка! Жар так и пышет. После того бредить принялась – и все стихом бредит, все песнями. Заведет-заведет так-то (голос звонкий):

*А-ах! Коль ты по-ния-ять бы мог
то,*

Сск-ко-олль тобой я пленена!

В этом жалостном месте рассказа сиявшее лицо Кузьмича оросилось обильными слезами. Горемычно понурил он голову, припоминая нам тяжелое время дочерних скорбей.

– Я, бывало, слушаю, – говорил он, распуская по бороде неряшливые слезы, – как это она, голубушка, убивается, так сейчас с горя в харчевню. (Харчевня тут подле нас стояла, так хозяин-то приятель мне был. Он десять годов тому вон в той роще от своего жалостного сердца на дереве удавился.) Сижу, бывало, у него и горюю, и он со мною вместе горюет, потому, как одинокий человек, очень все наше семейство не оставлял... И только по таким временам одна супруга могла меня мало-мальски разговаривать. «Не пей, говорит, дурак. (Дай ей бог за это доброго здоровья!) Не крушись! Это, объясняет, по молодым девкам такие болезни завсегда ходят... Я ее урезоню от этой болезни». И точно: урезонила!..

Справедливость плачевной истории, а равно и благополучный исход ее были с отличной готовностью засвидетельствованы передо мною, хотя я во все это верил самым ис-

кренним образом, и дядей Листаром и Фарафонтьичем, каждым, разумеется, на свой собственный манер.

Дядя Листар затянул с своею обыкновенного свирепостью:

– О-о-хо-хо! Детки, детки! Все-то сердце у родителей переболит по вас!

Между тем как Фарафонтьич прямо уверял меня, что во всем этом неправды ни на вот сколько нет. Все как сказано, так и было...

Мне не знаю почему-то вдруг стало противно от этих неожиданных уверений. Потому ли, что они нарушили мое внимание, с которым я слушал и смотрел Кузьмичов плач, или потому, что маленький внучек Фарафонтьича по-прежнему во все свои синие глазки осматривал нашу компанию и неутомимо держался за бороду деда, как бы с целью показать всем нам, что история, только что растрогавшая нас, может быть исполнена такой же старой и отрепанной неправды, как старая и отрепана мочалка, находившаяся в его руках.

Во второй раз этот бессловесный мальчик натолкнул меня на мысль, бог знает отчего

мелькнувшую в моей голове, что уж не комедию ли какую ломают передо мной эти старцы; но Кузьмичу, как говорится, не было никакого удержу. Его речи лились рекою и не давали мне никакой возможности остановиться на моей мысли, пораздумать над нею и определить ту фальшь, которая звучит во всех этих рассказах и беспокоит меня.

– И от всякого-то она, – заливался Кузьмич, – возьмет деньгу самым, то есть, деликатным манером. Красавца-то мы, о каком я тебе говорил, страсть как пролупили! Все сюртуки у него сукциону пошли в один год! Эдакие горы одежды! И ведь ты не подумай, что она на наряды себе собирает либо на транжирство какое-нибудь, н-не-ет! Все родителям, все родителям! Истинно, семейство мое без нее давно окодело бы. Да вот недалеко сказать, как она даром что девица, а не хуже самого заправского молодца всю свою фамилию облагодетельствовала: приехала из города с старичком одним – с отставным чиновником. В мою пору этот чиновник, но только гораздо меня слабее, потому господа не в пример скорее ослабевают, чем наш брат, про-

стой мужик. Приезжает и говорит: «Тятенька! маменька! Вот я вам жильца привезла, из благородных, в отставке». Старик, смотрим, молчит и только все это шевелит усами на манер таракана, ровно бы что-нибудь сказать собирается. Только это чуть-чуть доносит к нам от его: «Полуштоф! полуштоф!» Тут Аленушка засмеялась и шепчет: «Это, говорит, он за водкой приказывает сходить. В нем, говорит, только всего теперича и осталось, что любит он водку пить да на баб молодых глядеть. Вы, – советует нам, – подражайте ему в этих разгах». Мы засмеялись и стали тому старику подражать. В иной день рюмочку ему оборудуешь, в иной – две, а он, сидя себе на лавочке, так-то в барынь глазами впивается и губами подчмокивает! Бедовый! Хе, хе, хе! Но сам-мые большие комедии представлял старик, когда Аленушка к нам из города приезжала. Наденет сюртук, на грудь медалев навешает и все это руками-то ловит, ловит ее... Куда она, туда и он за ней плетется, – смех!.. Умер недавно, так отказал триста серебра, халат на волчьем меху, так, вроде бы шубы халатик – исправный, да три курочки с петуш-

ком, самый первый сорт, кахетицкие какие-то. Большая нам от тех курочек польза и утеха выходит... Яички-то ныне кусаются; мы девять десяточков в одну неделю по четвертачку продали. Аленушка и теперь говорит: как бы, говорит, не запрещал синат таким старикам жениться, я бы беспрременно за моего благодетеля замуж пошла, потому после него пенсия и благородство. Но мы с супругой ее от этого отговариваем, потому как на стариково наследство изладили мы флигарчик об трех окнах, с мезонинчиком, и, может, с этим флигаречком возьмет ее за себя какой-нибудь офицер. Известно, что не из самых благородных, но все же офицер. Так-то вот, я тебе говорю, кто родителей-то уважает, тому...

Тирана, дяди Кузьмича не была закончена. Ее на самом моральном месте перебил некоторый высокорослый блондин, вошедший в комнату теми развязными, танцевальными шагами, которыми так недавно еще обязаны были входить в гостиную люди хорошего тона. Рыжие, строго обвислые усы обличали в блондине человека, не незнакомого с преле-

стями военной жизни, хотя в то же время истасканный костюм его, обрюзглое и багровые от пьянства щеки и даже, наконец, желвак под левым глазом ясно свидетельствовали, что воин обратился в смиренного гражданина.

Переставши танцевать и шаркать, он устремил в меня тот пристальный и серьезный взгляд, которым пьяные люди хотят доказать трезвым людям, что они не пьяны, и с величественною светскостью на французском языке произнес:

– Мосье! можно войти?

– Да ведь вы уж вошли, – отвечал я и, по своему обыкновению, засуетился, представляя те трудности, которые всегда мне приходится преодолевать, примиря моих гостей джентльменов с моими гостями неджентльменами.

Мою отповедь блондин залил целым каскадом французских слов и французских удивлений.

– Вот брякнул, так брякнул! Ххаха, хха-а, – раскатывался он этим трескучим полутенором и полубаритонем, столь свойственным

нашим отставным и пропившимся всадникам. – Да ведь вы уже вошли! Что за наивность? – И, – преснисходительно вылупляя на меня свои стеклянные бельма, французил блондин, – и пррит-том как-кая наивность! Хха, хха, хха!

Щеки таинственного незнакомца так и подпрыгивали при этом смехе; я почему-то не то чтоб конфузился, а был в таком положении, как будто стоял не на своем месте. Кузьмич и Фарафонтьич заботливо отыскивали свои шапки, торопливо и униженно кланяясь блондину и улыбаясь перед ним в то время, когда с меня он переносил на них свой стеклянный взгляд. Даже дядя Листар очень тихо встал со стула и выразил намерение отправиться домой самыми мягкими стопами, несмотря на то, что его громадные ноги были обуты в большие, шумно громыхавшие ступанцы.

– Что вы тут делаете с этими скотами? Охота вам поить этих старых дураков! Вы бы их в шею! Вот так!

Говоря это, барин в одно и то же время шутивно и строго потряхивал и подергивал

то одного, то другого старика.

– Што, они вам все штуки свои показали? – осведомлялся блондин у меня. – Довольны вы?

Я, натурально, отвечал, что мне никто никаких штук не показывал. Старики замечались в это время еще тревожнее, и только дядя Листар, сохранивший кое-какое присутствие духа, сердито отгрызался, точь-в-точь бульдог, на которого надели намордник:

– Ну уж вы мне, ваше благородие! Вам бы всё штуки, по вашему приказу, для каждого господина даром показывать... Напрасно вы так-то с нами...

– А-а, скотина, заговорил! – с каким-то особенно громким и развязным хохотом затараторил барин, схватывая дядю Листара за ворот рубашки и тем предупреждая его намерение предаться бегству. – Сейчас чтобы нам обо всем обстоятельно доложил. Говори: какими манерами ты приобрел себе этот дом?

– А какими? – угрюмо каялся дядя Листар. – Известно, через свою собственную женитьбу... От особы получил... От почтенного лица...

– Ха, ха, ха! От почтенного лица? Ну а за что же?

– Известно, за что! За супружны услуги!.. По вдовству по ихнему присмотр за ними большой требовался... Што же? Мы люди маленькие! Нам без услуг нельзя...

– А? Нельзя? – передразнил барин, закатываясь непрерывавшимся смехом. – Так и запишем. П-шол вон, буйвол, чудовище ты эдакое! Смотрите: рожа-то какая!..

– Што ж рожа? – протяжно и конфузливо отрезонивал Листар. – Известно, узоров нет; а рожа самая христианская! Тоже веруем – слава богу! Пущай мужики, а себя завсегда соблюдаем. Р-рожа! – прорычал он окончательно, стараясь как можно скорее улизнуть за дверь.

Другие старики без малейшей оппозиции повиновались повелительному барину. Фарфонтъич смиренно постаивал у порожка с своим внуком на руках и слезливо помаргивал, а дядя Кузьмич из заносчивого политика на живо и с полной готовностью преобразился в одного из тех шутников, над которыми помирают со смеху кабачные компанства, по-

купая их прибаутки стаканами пива или водки. Он стоял перед блондином в смешной позиции старичка, желающего показаться молодцом перед господами. Его правая нога, не без грации выставленная наотлет, и приятная, с полной надеждой ожидающая всяких милостей улыбка, которую, впрочем, он весьма часто вытирал своей татарской шляпенкой, показывала в нем человека, твердо решившегося делать перед господами всякую штуку и всякую службу.

– Ну ты, облизьян! – приветствовал его барин. – Ведь ты – облизьян?

– Так точно-с! Эфто даже очень верно, судырь! – решительно отвечал Кузьмич, причем, с манерой паяца, вместо правой ноги, выкинул наотлет левую.

– Хорошо! – одобрил барин. – А чем ты занимаешься?

– Кормлюсь-с воровством-с! От своих собственных рук-с.

– Чудесно! Была добыча давно?

– Третьеводни с младченькой дочкой-с оборудовал у пьяного курятника четыре цыпленка, но избили. Дочка-с, малый ребенок

как, потому теперь от этих побоев лежит в постели-с... Вся в примочках-с... Господин аптекарь отпускают нам арнику-с безденежно-с...

– А где твоя старшая дочь?

– Состоят с недавних времен при господах-с в услужении... В Санкт-Питербурхе...

– Ну, полно врать...

– Смею заверить, что безоблыжно докладываем-с...

– А отчего у ней на правой ноге пятки нет?

А! ха! ха! ха!

– Порешимшись пятки!.. Это точно-с! Грехов таить не могу-с... – ответил Кузьмич с предварительным вздохом и несколько сконфузившись.

– Отчего же это она порешилась? А? ха! ха! ха!

– Потому вдарило им в пятку-с...

– Что?

– Нехорошей болезью вдарило...

– Ха, ха, ха! Слышите! А от-чче-ево она?..

Но вместо ответа на последовавший за этим вопрос Кузьмич совсем сконфузился. Он стыдливо мял в руках свою шляпенку и говорил:

– Не могу-с, ваше высокоблагородие, вам никакого ответа дать на сей раз. Сколько вами ни облагодетельствован... Но только никак не могу-с... Как вам угодно-с... Да вы вот лучше извольте, ваше высокоблагородие, у Фарафонтьича спросить про ихнего сынка-с... Распотешить могут ихние похождения не хуже моей дочки-с...

– Што тебе мой сынок! – вдруг окрысился Фарафонтьич. – Сынок, сынок! А што такое мой сынок? Небойсь мой сынок-то не такая паскуда, как твоя дочь! Мы благородных господ не обкрадываем. У тебя онамедни самая маленькая-то, так и то сетку с капитанши украла, с богомольщицы.

– Ка-акк? М-моя доч-чка! Мл-лад-денец-то! Украла! Рази она смеет без моей родительской руки? Ты знаешь, кто ей отец?

– Кто ей отец? – свирепо приставал отличавшийся своею смиренностью Фарафонтьич. – Ай сам не знаешь? Ведь мы с тобой ровесники... Еще ты на крестины-то ее занимал у меня три двугривенника...

– Хха, хха, хха! Как есть из «Оленьего парка», – интимничал со мною белокурый ба-

рин. – Вот посмотрите, как я их сейчас stravлю. Слушай-ка, Кузьмич, мне дед Фарафонтьев вчера в лавке рассказывал, будто твоя дочь монахиней по вечерам наряжается и тем тебя, старого дурака, прокармливают...

– М-моя доч-чь! Гл-лаз-за лопни! – воскликнул в глубочайшем удивлении Кузьмич. – Да, ваше высокоблагородие, што вы этому старому черту, прости господи мою душу грешную, верите?.. Это сын его, от церковных ворот кружку отбивши, купил себе на место этого томпаковые[5] часы на серебряной цепочке и с ними по посадку рази он может ходить? Жилетку тоже себе ситцевую купил, совсем как на манер шерстяной. Вся в цветах... Рази его можно за это одобрять?

В ответ всем этим препирательствам слышалось одно только барское: «хха, ха, ха!»

– Кру-ужку? От святой церкви мой сын кружку отбил? – растрещенился Фарафонтьич, зверски оскаливая при этом свои гнилые зубенки. – Ахх ты, стар-рый! Да когда это было?

– Когда? – меланхолически и вместе с тем утвердительно откликнулся Кузьмич. – А вот

когда: сарай-то этот тесовый, какой у тебя под гусарскими конюшнями ходит, на какие деньги построен? Што? Обжегся! Вот когда.

– А твоя жена на какие деньги себе к прошлой святой бурдусовое платье сшила? – как гиена злился Фарафонтьич. – Все же от офицерского денщика получены...

– А твой-то сын што с полоумной барышней сделал?... Х-хе!.. Ну-ка, расскажи.

– Вон! – грянул в этом месте обыденного романа полубаритон и полубас бывшего военного человека. – Ах, скоты! Забылись совсем! Вы господ-то, должно быть, совсем знать не хотите...

Тихо вышли из моей комнаты потешные, по отзыву барина, старички, кланяясь и благодаря до того униженно и благодарно, словно бы их выпустили из тяжкого вавилонского плена.

Внучек Фарафонтьича любопытно посматривал из-за дедова плеча на крикливого господина; а крикливый господин, вздохнувши как бы с глубокой усталости, сказал мне:

– Устанешь с этими животными! Я вот с ними лет десять живу, так, ей-богу, необычно-

венно устал, потому что, надеюсь, вы видите во мне человека с образованием... Ну а такому человеку жить с ними почти невозможно. Видишь их дурость вседневно – и никакой изобретательности, – ужасно надоедает. Говорят, что кормиться нечем: земли нет, говорят – угодьев тоже никаких нет, мастерствов (и вы поймите эту квинтэссенцию русского языка: мастерствов!) никаких не умеют. Что же, спрашивают, нам, судырь, ваше благородие, делать? Учишь, учишь!.. пользы, как от козла – ни шерсти, ни молока!.. Мы, говорят, по-барскому не умеем...

Судя по тону, с каким барин произносил эти слова, видно было, что ему в действительности очень жаль своих, как старинные учебные заведения отмечали ученические аттестаты, неспособных и недобропорядочных учеников. Он задумался на некоторое время, грызя ногти и выпивая рюмку за рюмкой. Мое положение было таково, чтобы дознаться с большей или меньшей достоверностью, о чем именно он так глубоко думает, и потом предохранить его от вредоносных результатов этой думы.

– Вот что! – крикнул барин после долгой паузы. – Я вот вчера видел на вас хорошую шляпу. Собственно затем и пришел. Тут вот скоро поедут фрейлины, так мне чтобы к коляске, знаете, поприличнее подойти... Антру: [6] для семейства, – скороговоркой и крепко сжимая мне руку толковал он. – Что делать? Я сам генеральский сын... Но, как говорилось в старинных романсах: испытал судьбы премену!.. Так можно насчет шляпы-то?

– Вот, вот! сделайте одолжение, – подал я ему шляпу, в полной уверенности, что она должна быть спасительницей и белокурого человека, и его многочисленного семейства.

Барин в это время искривился до высочайшей степени неудобства, затанцевал, зашаркал и захлопотал:

– Monsieur, vous йtes bien bon! Parbleu... Pour la premiXre fois! Mais diable![7] Ну-ну, если мне удастся схватить что-нибудь, то первый наш шаг... Общий шаг!.. Ce sera des flyers... des fleurs!// Mais vous comprenz?[8] Ха, х-ха, х-ха!

И затем барин, выпивши еще безделицу, удалился, величественно помахивая высокою белою шляпою и строго осматривая проно-

сившиеся мимо него по шоссе экипажи.

* * *

С балкончика, на котором я сидел, видно было, как мой новый знакомый раскланивался с различными проезжавшими господами и госпожами. Под балконом между тем на длинной скамейке сидела какая-то туземная компания, пощелкивая орехи и подсолнечные зерна. По разговорам этой компании я мог заключить, что она с большим интересом следит за прогулкой белокурого господина.

– Гляди, гляди! – слышалось из-под балкона. – К князю Тугову приступает. Ну, н-нет, барин, шалишь! Об эфтого разобьешься...

– Ну, вот теперича к госпоже Дубовой подступ сделал, – раздавались другие голоса. – С этой что-нибудь беспременно сшибет, потому богомольна... Эка барин какой продувной! Сколько он теперича с этих господ денег сколупывает – беда!

Страннее всего в эту минуту было то обстоятельство, что слышанные мною голоса часто были перебиваемы возгласами вроде: *mon Dieu mon Dieu! Quelle infamie!*[9]

– Не тоскуй, барыня! – отзывались по вре-

менам на эти возгласы другие, невидимые мне люди. – Все тебе же собирает... Дитю!..

– О, позор-р! Какой позор! – раздавался тот же страдающий и негодующий женский голос.

Я перевесился через перила балкона с целью увидеть, кто это там страдает; но кроме необыкновенно горластого и безобразного ребенка, валявшегося в куче песку, ничего не увидел. По временам этот ребенок вскакивал с песку и убегал по направлению звавшего его голоса:

– George, viens ici! Regarde, mon petit, que fait ton papa!.. Oh! Comme vous sommes malheureux!..[10]

– Барыня! Не скорби! Все тебе же принесет, – лились утешающие речи; но речи эти, видимо, не достигали желанного результата, потому что барыня скорбела все больше и больше.

Между тем некоторые из этих озолоченных последними солнечными лучами колясок снисходительно останавливались перед отрепанным барином. Видно было, как на его почтительные и грациозные поклоны из ко-

лясок отвечали тоже грациозными жестами, ясно говорившими: «Что вам угодно, мсье?»

Затем следовало вынимание портмоне, потом вынимание из портмоне бумажек и вручение их белокурому барину, потом и я, и вся кипевшая страшным многолюдством улица видели, что толстый барин, сидевший в коляске, долго разговаривал что-то с белокурым баринком, стоявшим перед ним и державшим шляпу на отлете...

Вечернее солнце одинаково безобидно освещало и холуйскую спину барина, стоявшего у коляски, и сморщенные губы барина, сидевшего в коляске...

– Хха, хха, хха! – гремела улица, увеселяясь этой вечерней картиной.

– Oh, mon Dieu! mon Dieu! George, mon pauvre enfant!..[11]

– Бар-рыня! не скор-рби! Пшто ты эkk-кую гадину любишь!.. Дуб-бина! В чинах, а побирается... Рази можно так поступать благородному человеку?..

– Молчи, осел! – негодующими уже нотами зазвучал женский голос. – Как ты можешь говорить так об образованном человеке?.. У ме-

ня отец генерал, и у него – генерал...

– Ха, ха, ха! Оно и видно!.. Приметно по всему...

– Молчать, скот! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Oh, George! Что должна выносить твоя бедная мама?..

Из-под балкона развалистыми шагами вышла какая-то поддевка, очевидно, спугнутая со скамейки этим окриком барыни. Неторопливо направляясь чрез шоссе к противоположному кабаку, поддевка недовольно ворчала в том роде, что «эх вы, господа голые! На грош мунициии, а на рупь амбиции! Туда же по-французскому»...

– Молчи, молчи, гадкое животное! – кричала барыня, выбегая из-под балкона, как бы с целью догнать обидчика и разделаться с ним благородным образом. – Если ты скажешь еще одно слово, сейчас к становому...

– Видали!.. – со смехом огрызнулась поддевка с середины шоссе. – Не стражай!

В компаниях, сидевших на лавочках, эта сценка произвела веселый хохот; а барыня в крайней ажитации побежала к своему сынку, обняла его и истерически зарыдала, переме-

шивая свои рыдания с различными французскими жалобами на горькую судьбу, доставшуюся в удел ей и ее ребенку.

Она была таким маленьким, грустным и бедным созданием, что трудно было представить себе что-нибудь беспомощнее ее, когда она прижимала к груди свое дитя, какими-то стеклянными и равнодушными глазами смотревшее на матерние слезы...

– Это еще что за новости? – прикрикнул белокурый барин, подходя к описанной группе и гневно топорща усы. – Что день, то новая драма! Когда вы меня перестанете срамить перед этим мужичьем? Марш домой!

– Oh, Jean! – молитвенно обратилась к нему дама, грациозно поднимаясь с кучи песку...

– Oh, Jean! – плаксиво передразнил ее барин. – Скажите, какая невинность!.. Вот, возьми, – говорил он, подавая ей скомканную рублевую бумажку, – да у меня не сметь кукситься... Домой! И после этого никогда не актерствовать на улице. Ишь каким сокровищем хвастает, – закончил строгий властелин семьи, давая легкого щелчка в лоб своему наследнику.

Барыня торопливо укутала голову ребенка полами своего бурнуса, умоляя в то же время мужа не ездить куда-то, не делать чего-то; но муж не обращал на нее ни малейшего внимания. Завидев меня на балконе, он любезно раскланялся со мною, поблагодарил за шляпу и, похвалившись тем, что он ныне порядочно сдернул с вислоухих, с игривым смехом стал меня звать проехаться куда-то весьма неподалеку, где находились будто такие котлетки и такой макончик[12], что просто пальчики все оближешь...

Глубоко благодарный взгляд кинула на меня несчастная женщина, когда я отказался от этого приглашения, а барин, пробормотавши что-то насчет чьего-то свинства, геройски махнул рукой проезжавшему лихачу, которым с быстротою молнии и был отвезен в страны макончика и котлет...

Только одно это женское горе и успел я заметить в счастливой местности; но и оно, в общем, было совершенно заглушаемо смешанным гулом на разные лады ликовавшей толпы. По временам из этого гула вырыва-

лись вороньи, бабьи речи, касавшиеся до ба-
рыни.

– А черт ей велит жить с этим урлапом! Са-
ма виновата!.. Да я бы на ее месте...

– Известно, что на ее месте всякая бы... Она
еще молодая... Она медни при мне засылали
к ей от одного вдового купца в экономки
звать... Не пошла!.. Я, говорит, благородная...
А какой фабрикант-то!..

– Да стала бы я теперича так по нем пече-
ловаться? Убиваться! Да разрази меня на сем
месте...

– Ну да тебе-то не диво – по мужике не уби-
ваться... Видала ты их на своем веку... Кажет-
ся, на рот-то кой-кому замчишко бы какой по-
навесить следовало...

– А тебя-то давно уж на цепь всю пора по-
садить... Кто бы другой говорил, а вам бы с
мужем-то помолчать нужно...

– Е-ес-сть перед кем! Это перед тобой-то?..

– Передо мной!

– Бабы! Молчать, подлые! – кричал с шоссе
пьяный лавочник с бычачьими глазами. –
Што вы мне спокою не даете в моем запивой-
стве? Рази я часто пью? Я не часто пью, а вы

мне мешаете! Вот сейчас перепишу вас всех в книжник и перестану вам за это в долг отпущать – и должны вы тогда все с голода переколоть. Ха, ха, ха!

– Ха, ха, ха! – отзывались на это ласкающие женские голоса. – Ах! Что же это за чудак Борис Костентиныч? Какие надсмешки дает. Иди, Борис Костентиныч, сюда в нашу компанию, – мы тебе романец сыграем. У нас тут тепло...

– О! – кричит самодовольный бас лавочника, и затем в надвинувшейся вечерней темноте раздаются бабий визг и хохот, грохотанье приглашенного, протискивающегося в самую середину бабьего общества, и робкий шепот: «И, черт! Ослеп, что ль? Видишь, вон мой из кабака выбег! Ах! Рубаха-то на нем, на шуте, как вся исполосована!»

Действительно, шут, выброшенный сейчас кабачною дверью, был весь оборван и окровавлен. Стремительно понесся он вдоль шоссе, вытирая с лица кровь рукавом рубахи. По следам его с невообразимой галдой гналась пьяная приятельская ватага, все опрокидывая на своем пути.

– Черти! – кричали стаптываемые этой ва-
тагой. – Когда на вас угомон-то будет?

– Што ж нам? Ай мы не в своей державе?..
Стр-ра-нись! Подавим всего... Ха, ха, ха!

Как бы прощаясь с буйно проведенным
днем, улица, несмотря на то, что делалась все
темнее и темнее, буйствовала все больше и
больше. Перед каким-то холстинным шатром,
украшенным вывеской, говорившей, что
здесь «Беспроигрышная староскопическая
лытарея», волновалась целые массы народа.
Лытарея была освещена лампами, чрез что
получалась полная возможность видеть, как
внутри ее некоторый бравый детина в крас-
ной рубахе и высоких козловых сапогах пока-
зывал публике в стереоскоп веселые фотогра-
фии, заставлявшие ее покатываться со смеха,
и как он с ухарскими прибаутками вручал
различным «господам купцам, кавалерам и
фрейлинам» выигранные ими вещи. В то же
время другой точно такой же детина с отлич-
ным успехом разжигал игрецкий задор своих
посетителей, погромыхивая им на гармонике
мотивчики таких забирательных свойств, что
некоторые из предстоявших госпож фрейлин

вламывались в амбицию и говорили виртуозу: «Ты, однако, свинья, не очень охальничай...»

– Пущаю-с теперича, достопочтенная публика, в прахтику вот эфто самый серебряный самовар, – речитативом покрикивал раздаватель билетов. – Кушали из с-сево самовара три графини... Вот бы вам его, Грунечка, выиграть-с. Ведь вы тоже Графена-с! Возьмите билетик-с на счастье-с.

Грунечка фыркает и с негодованием вывертывается из дюжих лап лотерейщика. Предстоящие хохочут, – целые десятки рук протягиваются к стойке с деньгами. Вот зажужжало лотерейное колесо, – публика, взявшая билеты, стихла в ожидании выигрыша серебряного самовара, – и только задние ряды ее галдят по-прежнему, восторгаясь музыкантом, который снова голосисто и бойко грянул на гармонике:

*Как н-на эф-тай на Пакрофке
Мне попались три плутовки,
Собой нидур-рны-ы!
У ад-ддыной зат-тылок бритый,
У др-другой скулы разбиты,*

Ах-х! Оч-чишь хор-роши!

– Хороши! – вторит толпа песеннику. – Это точно, что очень прелестны. Ха, ха, ха! Экой черт! Ведь придумает же...

– На том стоим-с! – скромно отвечает поэт...

– Подходите, подходите, молодцы! – раздаётся речитатив. – Идет в эту самую аллегру персицкой ковер из пуху райских птиц...

– А веселое тут у вас место, – доносится до меня тихий разговор с лавочки соседнего дома, – только буйства много.

– Буйства? – защищает кто-то, скрытый ночью. – Какое же это такое вы буйство увидели? Точно что места у нас веселые, но буйства нет... У нас испокон веку так!..

– Тихо? А это вон в кабаках-то что делают? Везде краулы кричат, песни орут...

– Да это что же? Это так, мужики, от скуки играют, – бабы теперича, какие ежели запивают, тоже с ними по кабакам и трактирам сидят. Так ведь это что же? Делать дома нечего, вот они и пьют. У нас так испокон веку, милая барыня!..

– Да чем же вы живете-то? Ведь ты же мне

сама сказывала, что мужики у вас ни пахотой, ни торговлей, ни ремеслами никакими не занимаются; бабы шить не умеют. Чем же вы кормитесь-то?..

– А мы, барыня, – с поучительной лаской, направленной как будто к беспонятному ребенку, говорил защищавший голос, – мы, сударыня ты моя, кормимся от вашего брата, потому как приезжают к нам господа для вольного воздуха... Опять же город близко; и у нас там, милая ты моя, милостивцы заведены... По шоссе опять много всякого народа и ходит и ездит. Ну, значит, от другого...

Тут я услышал голос дяди Листара, расхваливший меня кому-то самым лестным образом:

– Н-не-ет, мил-ый! Я тебе прямо говорю (ты знаешь, врать тебе я ни за что не буду!): у меня жилец не такой! Мой жилец семь офицерских чинов произошел. Я, к примеру, все эти его жалованные грамоты сам видел. Он сказал мне: «Дядя Листар! Как я тебя любил, то вот читай мои грамоты», – и сичас из своих рук стакан рому. Как же? Сосватан в Питере на полковницкой дочери, – кр-ра-

са-вица!..

«Господи! Что это он? К чему?» – думал я, зная, что, кроме меня, у дяди Листара жильцов ни одного человека нет.

– Вот бы такого-то господина попросить! – слышался заискивающий голос. – Я ведь, признаться, и не виноват почитай в эфтом деле... Это все вон Киндяковы поделали, потому кондуктор этот, какого они схватили, у меня детей крестил. Сам рассуди: ну стану я такого человека беспокоить?..

Но несколько не слушая своего компаньона, дядя Листар, наподобие дикого коня, несся все дальше и дальше с своей импровизированной поэмой про жильца, прошедшего семь офицерских чинов. Пропустив мимо ушей приятельскую просьбу, он продолжал:

– Сейчас эта самая невеста – полковницкая дочь – приехадчи ноне из Питера, доложила ко мне: «Дядя Листар! Сбереги ты моего жениха, я на тебя надеюсь. В ем, – рассказывает мне, – ума посажено – беда...» И сейчас же мне фунт чаю – и ручку дает целовать. «На, говорит, целуй мою ручку, потому я полковницкая дочь...»

– Ах! – дрожа от волнения, умолял слушатель дяди Листара. – Вот бы такого-то попросить... Помоли его за меня, дядюшка Листар Максимыч, – я для тебя ничего не пожалею!..

– Угощай иди! – отрезал дядя Листар. – Н-но н-не р-ру-чаюсь!.. Ах! каково он у меня высокого обхожденья!.. Я уж на что, кажется, с какими знаком, а и то его боюсь... Потому, я тебе прямо говорю, он милослив, но зато, ах, как строг!.. Ежели для беззаконных, – избави боже...

В противоположном кабачке сейчас же после этого разговора хлопнула дверь, чем поэма эта и закончилась...

– Так вот так-то, милая барыня, мы здесь и живем, – опять возобновилась интересовавшая меня беседа у соседнего дома, заглушённая было громким голосом моего хозяина. – Так вот и живем. От того, говорю, щипнешь, от другого щипнешь. А буйства нет у нас! Потому из чего нам буянить? Мы знаем, что господа нас не минуют, – поэтому мы совсем без печали... О чем печалиться-то? Печалиться-то сам бог не велел...

– Аристарх! Аристарх! слушай! – кричал в

кабаке буйный женский голос. – Веди меня сейчас к твоему барину. Я с ним по-французски... Вот слушай:

*Venez, venez, garçons
Tra-la-la, tra-la-la!*[13]

Или по-немецки... Я тоже могу. Меня учили... Слушай!

– Ну а какая от тебя награда за это будет? – осведомлялся Лист ар.

– Нет, стой! Слушай! Вот я тебе по-немецки:

Du hast Diamanten und Perlen...[14]
[15]

– А я тебя спрашиваю, какая мне за это будет награда? Ты одно возьми в толк: ведь он об семи чинах...

– Я сама благородная... – пьяным дискантом рекомендовалась женщина...

– Листар! Что я тебе говорю, – слушай! Кажется, ты меня довольно знаешь, – вмешался в этот разговор еще другой, тоже женский голос. – Как ты, такой благородный мужчина, и с этой несчастной дела имеешь? Ну куда ты ее поведешь? Кажется, ты знаешь, как я обра-

зованна: и по складам и по толкам не хуже кого понимаем! Прислушайте, господа! Кто кого образованнее: Я червь-есть-че-слово-твердо-наш-аз – на-глаголь-он – го-он-твердо-цы-аз – ца-добро-он-червь-ерь – чь...

– Гра, гра, гра! – тряслись от хохота кабачные стены. – Молодец! Сложила. Ну-ка, ты те-перича: сыграй по-французскому-то... Мы послушаем...

– Черти! Туда же насмежаются, мужланы...

– Коли по полтине серебра жертвуете, доложу, – шумел Листар уже от своей калитки вслед уходящим женщинам.

– Пошел, старый черт! Мало вас тут, дураков. Есть об чем печалиться...

Вскорости всю улицу завалило шествие какой-то необыкновенно свирепой и безалаберно горланившей орды. Некоторые из составлявших ее членов орали песни, другие занимались подходящими разговорами.

– Ваня! Ивашка! Яшутка! Ну, братцы, сторона тут у вас, – ей-богу!

– У нас, брат, здесь сторона! Видишь вон трактир-то! Целуй!

– Стой! Стой! Што толкаешься-то? Сам сда-

чи дам.

– Не есть тут у нас ни печалей, ни воздыханий!..

– Я же тебя, коли ты так стал, я же тебя кол-лону...

– Краул!

– Нет! Драться здесь запрещено...

– Кр-раул!

– Не рви чуйку! Ты дерись, а чуйку не рви!..

– Нне-ет, у нас сторона!.. Я тебе прямо скажу: видишь вон трактир-от? Хо! Первый сорт! Целуй!

– Не р-рви чуйку!

*Venez, venez, garcons
Tra-la-la, tra-la-la!*

слышался также в этой свалке голос женщины, хваставшейся перед дядей Листаром своим образованием.

Tra-la-la, tra-la-la! —

с хохотом припевала она, прибавляя к своим мотивам отрывистые изречения вроде следующих:

– Есть о чем говорить! Что печалиться-то?.. Ха, ха, ха!

– Не р-рви чуйку!

– Пусти бороду!..

– Сам отпусти бороду прежде! Што ты, ополоумел, что ли? Всю бороду вырвал...

– Н-не-ет, милый! Яшка! целуй! У нас здесь место – рай, одно слово! Видишь вон: это постоянный двор; но все одно што трактир. Ходим! Ахх, места!..

– А-ха, хха, хха! – словно бы русалка, хохотала чему-то пьяная женщина и голосом, разносившимся на далекое пространство, пела свою затверженную песню:

Venez, venez, garcons
Tra-la-la, tra-la-la!

1869

Примечания

Печатается по изданию: «Горе сёл, дорог и городов». М., 1874, с. 263—338. Впервые опубликовано в журнале «Дело», 1869, NoNo 1 и 2.

[^^^]

...*гигантские чугунные ворота* – Нарвские ворота в Петербурге, построенные по проекту Кваренги в 1814 году.

[^^^]

3

...победа при Синопе. – В Севастопольскую кампанию, 18 ноября 1853 года, Черноморская эскадра под командованием П. С. Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой.

[^^^]

Перед Кронштадом... ходят „войные“ корабли. – Летом 1855 года англо-французский флот курсировал в Балтийском море.

[^^^]

5

Томпаковый – сделанный из медноцинкового сплава.

[^^^]

6

Между нами (от франц. *entre nous*).

[^^^]

7

Мосье, вы очень добры! Ей-богу... Впервые!
Но, черт возьми! (*франц.*)

[^^^]

8

Это будут цветы... цветы! Вы понимаете?..
(франц.).

[^^^]

9

Боже мой, боже мой! Какой позор! (*франц.*).

[^^^]

Жорж, поди сюда! Посмотри, дитя мое, что де-
лает твой папа! О, как мы несчастны!..
(франц.).

[^^^]

О, боже мой, боже мой! Жорж, бедное дитя мое!.. *(франц.)*.

[^^^]

Макончик. – Макон – сорт виноградного вина.

[^^^]

13

Идите, идите, мальчики! Тра-ла-ла, тра-ла-ла!
(франц.).

[^^^]

У тебя есть алмазы и жемчуг... *(нем.)*.

[^^^]

«Du hast Diamanten und Perlen...» («У тебя есть алмазы и жемчуг...») – начальная строка стихотворения Гейне.

[^^^]